М. ХЕЙФЕЦ

СЕКРЕТАРЬ ТАЙНОЙ ПОЛИЦИИ

МИХАИЛ
ХЕЙФЕЦ

СЕКРЕТАРЬ ТАЙНОЙ ПОЛИЦИИ

ПОВЕСТЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
„МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ“
1968

ЧАСТЬ

ПЕРВАЯ

СТРАННЫЙ ЧИНОВНИК





ЧЕЛОВЕК В ВИЦМУНДИРЕ

...Петербург. Конец 1878 года. Пески — дальняя, глухая окраина города за Николаевским вокзалом (там, где через двадцать лет проляжет Суворовский проспект).

Двое молодых людей осторожно пробирались на конспиративную квартиру крупнейшей подпольной организации «Земля и воля».

Они незаметно скользнули в темное парадное.

На лестничной площадке первый приник ухом к замочной скважине. Тихо в квартире?

Второй глянул в узкое окошко на лестнице, убедился, что на улице никого не видно, и чуть слышно шепнул приятелю:

— На хвосте — чисто.

Первый протянул руку, зацепил на дверной ручке обрывок нити и ощупал на ней три мелких узелочка.

Если Катюшу взяли жандармы, она должна была, уходя, незаметно оборвать эти узелки. Однако они целы. Значит ли это, что можно звонить? А вдруг девушка просто не сумела на глазах у жандармов дотянуться до нитки?

Он все-таки решился. Позвонил.

— Кто? — спросили из-за двери.

Она, Катюша. Ее голос...

— Я, Дворник, — негромко отозвался гость. — Со мной Поэт.

Их сразу впустили.

Войдя в переднюю, человек, назвавший себя Дворником, сбросил с плеч шубу с пелеринкой и снял высокую шляпу — цилиндр. Одетый в модный английский костюм, он, казалось, претендовал на то, чтобы выглядеть светским человеком, но подстриженная клинышком бородка и франтоватые шелковистые усики придавали его широкому круглому лицу купеческий вид. Таких купчиков, рядившихся под дворянскую золотую молодежь, немало гуляло в те годы по петербургским улицам.

Зато спутник Дворника, гибкий молодой человек с черными глазами на необычайно бледном лице, выглядел странно.

Карманы и складки его темного костюма слегка оттопыривались, опытный глаз без труда угадал бы в них спрятанное оружие, а под плащом на миг блеснуло широкое лезвие кинжала...

(У Поэта было в подполье и другое, ироническое прозвище: за неодолимое пристрастие к громадным пистолетам и тяжелым кинжалам его дразнили «арсеналом»...)

— Что у тебя сегодня? — озабоченно спросил Катю Дворник. — Почему вызов?

— Приехал чиновник. Из Симферополя. Явка и рекомендации у него от южан. Ищет тебя. В делах, по его словам, не бывал...

— Ага!..

Задумавшийся на секунду Дворник сдунул с плеча пушинку — надо беречь, костюм у него не свой! — и вдруг решительно направился в Катину комнату.

Поэт сунул руку в карман, машинально щелкнул курком и медленно двинулся за товарищем.

Девушка осталась в передней одна...

В уютной комнатке сидел у окна с «Вестником Европы» в руках маленький сухощавый смуглый брюнет в чиновничьем вицмундире. Скрипнула дверь. «Вестник Европы» торопливо отброшен на подоконник, близорукие глаза из-под толстых линз внимательно уставились на вошедших.

— Иван Петрович, — вежливо наклонив голову, представился ему человек, называвший себя Дворником.

— Николай Александрович, — кивнул Поэт.

— Николай Васильевич Клеточников, — близорукий господин, чтобы не вышло потом никаких недоразумений, неуверенно пояснил: — Это моя настоящая фамилия.

Они улыбнулись.

Клеточников испытующе посмотрел на них. Большие, серые, ласковые, спокойно глянули на него в ответ глаза Дворника.

Этим глазам он поверил сразу. С первого мгновенья.

— Я много слышал о вас, Иван Петрович, — голос человека в вицмундире звучал мерно, спокойно. — Мне говорили, что вы каждому человеку можете найти полезное дело. Дело по его силам... Что касается меня, то я...

Дворник и Поэт переглянулись.

УСТРОИЛСЯ

Игра «по маленькой» тянулась каждый вечер.

Хозяйка меблированных комнат («угол Невского и Надеждинской, дешево, удобно, предпочитают студентов») вдова полковника Анна Петровна Кутузова нашла себе, наконец, достойного партнера для игры в карты. Неразговорчивому и невзрачному постояль-

цу, приезжему коллежскому регистратору, разрешено было запросто заходить на хозяйскую половину дома в любое время дня.

Многое определило такой выбор «мадам» (так называли Кутузову люди, ей близкие): заметила она и гаванские сигары, и французские вина постояльца, и его ровное пристрастие к коммерческим играм в карты (сама Кутузова любила азартные, но в других ценила солидность). Словом, подкупило «мадам» в чиновнике то, что «нигилисты» именовали презрительно буржуазным образом жизни. А главное — хозяйку удивило и обрадовало в постояльце редкое «в нашето время» умение слушать собеседницу. Стареющая женщина устала от обычных своих постояльцев — от говорливой, голоштанной студенческой публики, не дававшей ей и рта раскрыть.

Появился, наконец, в меблирашках воспитанный на старинный лад дворянин. Конечно же, «мадам» души в нем не чаяла! Одно вот ей не нравилось — про политику он не любил говорить. Как начнет, бывало, Кутузова за картами нахваливать современную молодежь, регистратор в ответ знай ругается да ворчит: «Поганцы студенты, ребра им ломать!» С виду-то мягонький, а как дело политики коснется, начинал злиться, даже смотреть смешно...

Карточные поединки с новым приятелем весьма успокаивали Кутузову после ее многочисленных дневных неприятностей. Вишь, повадилась к ней последнее время полиция, да все с облавами, и почти никто из пылких молодых постояльцев не уцелел: арест, тюрьма, ссылка. Хозяйке осведомленность полиции казалась иногда просто невероятной. Уж изо всех сил помогала она студентам прятать «литературку» — так нет, будто сквозь стены чуяли сыщики тайники в доме. Уж чего-чего «мадам» ни делала, чтоб выручить постояльцев, чего ни придумывала... «А по городу слухи ходят, — жаловалась Кутузова новому другу, — мол, у меня в комнатах поселился провокатор. Прямо с ума схожу — кто?! Ведь больно мне! Больно и обидно...»

Чиновник кивал: еще б не больно, всех постояль-

цев можно распугать, напасть-то какая — провокатор!

Нельзя сказать, чтоб новые друзья обходились уж совсем без ссор — характер у «мадам» был нелегкий. Но после каждой ссоры кавалер деликатно проигрывал своей скуповатой даме полтинник — и дружба возобновлялась.

О себе чиновник говорил Кутузовой мало, лишь временами жаловался на невезенье: приехал, мол, службу в столице искать, а ничего у него не выходит. Придется, видно, возвращаться в провинцию не солоно хлебавши. Нельзя же ему без конца жить не по средствам, как сейчас, например... А урезать себя он не привык, не умеет.

Добрая Кутузова глядела на него с жалостью. Порой задумывалась.

— Может быть... может быть, смогу вам помочь...

— Благодарю, милый друг, за участие. Но что вы можете для меня сделать! Тут нужны большие люди, большие связи, а где они у вас? Ваши знакомые — одни лишь стриженые курсистки, с которыми мне, к примеру, противно даже разговаривать... Слово благородного человека! Не понимаю, как вы их терпите, вы — такая разумная и серьезная дама!

Он тут же извинился за нервный тон, но мадам не обиделась: горячность чиновника, кажется, даже забавляла ее.

Однажды ему не повезло особенно: природная, видимо, страсть к риску взяла верх над обычной осторожностью, и он заиграл по-крупному. Проигрыш составил десять рублей: для не слишком богатого человека — целое состояние.

— Конец, — вздохнул он, поднимаясь из-за стола. — Конец! В Петербурге мне дороги не будет. Не такого размаха здесь живут люди. Играть с такой умницей («мадам» не выдержала — расцвела), с такой ловкой, с такой удачливой женщиной, как вы, Анна Петровна, — это удовольствие не для моего кармана. Разрешите рассчитаться, простите и не поминайте лихом. Уезжаю завтра.

Тут «мадам», наконец, решилась.

— Видите ли... есть у меня племянник... точнее, племянник моего покойного мужа...

«Мадам» замялась.

— ...Он ждет от меня наследства... И занимает... да... видите ли... немалое место. Он может на службу принять всякого, за кого я попрошу...

— А куда на службу? — чиновник, казалось, не смел поверить такому счастью, будто свалившемуся на него с неба. Он был сбит с толку, ошеломлен, растерян, даже заикаться стал.

Однако «мадам» медлила.

— Служба, правду говоря, неважная... Мне даже предлагать неловко. С моими-то взглядами на жизнь... Но иного выхода я пока не вижу. Племянник работает в Третьем отделении. — Тут она стыдливо опустила глаза к полу и шумно вздохнула полной грудью.

Третьим отделением называлась в Российской империи секретная государственная полиция.

Нет, как привередливы бывают люди! Только что этот мелкий чинуша, казалось, готов был на все, на край света согласился бы за местом бежать и вдруг ворчать начал: мол, что вы, что вы, неловкого, конечно, ничего нет, однако очень уж это хлопотная служба... Подумать ему, видите ли, надо. Служба как служба, а все-таки как-то так сразу... — и прочие жалкие, по мнению «мадам», слова.

На следующий день, как только открылось присутствие, он побежал в последний раз попытать счастья на стороне. Обошел несколько канцелярий, забежал, наконец, в гостиницу «Москва», что на углу Невского и Владимирского проспектов, — и решился. «Пенсия в Третьем отделении, говорят, большая», — объяснил он вечером Кутузовой свое решение.

Встреча коллежского регистратора с племянником «мадам» состоялась через день. Это были смотрины, которые кончились благополучно для чиновника.

— Поздравьте меня! — рассказывал он своему новому петербургскому приятелю, постояльцу тридцать шестого номера гостиницы «Москва». — Завербовался-таки я в шпионы. Плата в месяц — тридцать цел-



ковых серебром, да-да, не улыбайтесь, именно столько... Говорят, еще генерал Дуббельт завел — в память о спасителе, как он выражался. Вы не можете вообразить, какое хищное было выражение у этой слащавой ведьмы, когда меня пристроили к делу. Казалось, когти на пальцах выросли, а в глазах горело зловещее: «Попался? Держу тебя!..»

Новоиспеченный агент Третьего отделения набросал своему собеседнику портрет лысого, бритого, усатого племянника, изобразил его манеру сидеть молча, сожмурив хитрые глаза, прикрыв их густыми бровями, а при встрече с незнакомым человеком поводить слегка крупным носом, словно обнюхивая того. Услыхав описание примет, его собеседник был потрясен.

— Ну! Ну и племянничек! Как назвался? Гусевым? Крупный гусь... Поздравляю, Николай Васильевич. Поступай с богом к Гусеву!

На следующий день в секретную «Книгу сотрудников III-го отделения собственной Его Величества канцелярии» — так официально именовалось новое место службы чиновника — внесли фамилию еще одного кандидата в штатные шпионы.

«Коллежский регистратор Клеточников Николай Васильевич, — аккуратно выводил строчки помощник делопроизводителя Праскухин. — Прибыл из Симферополя. Рекомендован агентом Мадам. Лично проверен его превосходительством господином действительным статским советником Кириловым».

Племянником мадам Кутузовой оказался сам начальник российской секретной агентуры действительный статский советник его превосходительство Григорий Григорьевич Кирилов.

ШПИОНА ГОТОВЯТ К СЛУЖБЕ

Все агенты тайной полиции официально разделялись на два разряда: на штатных и сверхштатных. Штатные, иначе филёры, вели наружное наблюдение

за подозрительными лицами. Сверхштатные, в документах называвшиеся секретными сотрудниками, состояли из осведомителей и провокаторов. Осведомители добывали нужную информацию — внутри подпольного кружка, возле него или иным каким-нибудь путем; что касается провокаторов, то эти стремились не только проникнуть в революционную группу или ячейку, но и занять там руководящее положение. Нередко именно они подбивали подпольщиков на особо рискованные и опасные дела и в последний момент выдавали их полиции, помогая ей создавать громкие, а следовательно, выгодные дела.

Поскольку Клеточникова зачислили в штат, было ясно, что начальство решило подготовить из него филера. Благодаря покровительству старой провокаторши Николая Васильевича обучили очень быстро — буквально в две недели. Однако даже такой сжатый курс полицейских наук неожиданно оказался шире того, что нужно знать простому полицейскому шпику. Клеточников догадался, что Кирилов у себя в отделении, видимо, готовит филеров, так сказать, широкого профиля, то есть годных для использования их также и в роли секретных осведомителей.

За две недели новый «слухач» успел узнать немало относительно своих будущих обязанностей. Ему показали таблицу «типичных носов», «типичных волос» и «типичных ушей», таблицу мундиров — военных и штатских, и предложили все эти таблицы выучить наизусть. Объяснили, что обучают его новейшему методу словесного портрета француза Бертильона.

Клеточников сразу понял, что суждено ему стать жертвой новой моды в полицейском деле, и покорно учился этому словесному портрету. Целыми днями заучивал Николай Васильевич классификацию носов (нос прямой, нос с горбинкой, нос орлиный, нос греческий), классификацию ушей (прижатые, фигурные, оттопыренные), с одного взгляда пробовал определять рост всех встречных и поперечных согласно мерке, указанной ему начальством (рост большой, средний, низкий). После сдачи первого испытания его познакомили с весьма несложной методикой наружного

наблюдения. Попросту говоря, чиновнику показали, как надо следить за «объектом», чтобы тот не заметил преследователя. Приемы сего дела оказались нехитрыми, и Клеточников даже подивился этому. Напоследок ему вручили толстый альбом с фотографиями — предмет особой гордости архивариусов Третьего отделения. В альбоме этом были собраны изображения всех виднейших революционеров, известных полиции. Агенту предложили запомнить лица, занесенные в альбом, и, по существу, на этом его так называемые специальные занятия окончились.

Особое внимание Кирилов обращал на теоретические дисциплины — на знакомство с социалистическими взглядами и с историей русского революционного движения последних лет. «Без этого нельзя войти в полное доверие», — любил повторять шеф агентуры и сам проводил беседы по этим предметам с дебютирующими агентами. Начинал он обычно с весьма поучительной истории Сергея Нечаева, вожака тайной организации «Народная расправа», — истории, случившейся почти десять лет назад.

Нечаев провозглашал: во имя революции подпольщики могут лгать, шантажировать, выдавать нестойких товарищей полиции; во имя революции можно вообще попирать все законы морали и справедливости. Все дозволено! Ибо «цель оправдывает средства».

Вначале, по словам действительного статского советника, тайная полиция всерьез думала: мол, Нечаев — этакий некоронованный монарх подпольщиков и нигилистов, некий духовный отец «революционизма и пропагаторства». Но очень скоро агентам удалось выяснить, что в подполье у Нечаева есть многочисленные и могущественные противники, которые возглавляют самые важные организации революционного движения. И эти люди, с удивлением рассказывал Кирилов, заявили: дескать, бесчестная и безнравственная позиция революциониста несовместима с делом революции! Взамен ножа, кистеня, револьвера, которыми грозил всероссийскому начальству Нечаев, эти — самые опасные, по мнению шефа агентуры, — действовали иным оружием: книжками, листовками и бе-

седами. Казалось бы, что особого? Ведь одни слова — пух, тьфу, ничего! А вот поди ж...

— Недооценили мы их сначала, — откровенно признавался Кирилов. — Почитали первые книжечки, видим — властей не признают, ерунда какая-то... Да не царскую власть, пойми, а вообще, любую власть не признают... Хотят, чтоб каждая деревня сама собой правила. Запиши, Клеточников, это а-нархизм. Запиши, говорю, забудешь! Заводы, говорят, надо отдать рабочим, землю — крестьянам, деньги вовсе отменить. Это социализм у них называется. Понял?

— Так точно...

Удовлетворенный понятливостью ученика, Кирилов продолжал. Последовал новый рассказ — о хождении пропагандистов со словом социализма на устах в деревни и села, о том, как ничего не поняли мужики в этом социализме и как переловила тогда полиция крамольников — «две тыщи поймали, а скольких не поймали...». А из непойманных года два назад образовалась новая партия — «Земля и воля». Она попыталась изложить задачи революции так, чтобы сделать их понятными самому темному крестьянину. «Власть — народу, земля — крестьянам» — вот каков был ее лозунг!

— Ну-с, какой, Клеточников, можешь сделать вывод из рассказанного мной сегодня?

— Видите ли... — начинающий агент невольно оттягивал время, пытаясь сообразить, чего же от него ожидает услышать строгое начальство. — Можно так понять, ваше превосходительство, что тонкости взглядов — все эти анархизмы, федерализмы, унитаризмы и прочие чужеземные «измы» — сие не слишком волнует землевольцев... Не так ли? Может быть, в их организации главное, чтобы новый член «Земли и воли» просто ненавидел устои государственного порядка в империи и хотел бы с ними бороться? И еще — чтобы он был лично честен, не подражал бы Сергею Нечаеву? Вот-с мои выводы...

— В точку попал! — шеф одобрительно закивал головой. — Так, Клеточников, и делай! Ругай прави-

тельство, ругай полицию, ругай суды, что хочешь, однако в тонкости не влезай. Запутаешься. И не пьянствуй. Не кути. Не картежничай. Картами грешишь, знаю, это бросить надо. К тому я и вел разговор, чтоб ты понял... Сколько у нас агентов на пьянстве да на картах засыпалось! Главное, значит, ты усвоил. Считаю, что готов искать врагов внутренних. Поздравляю. Ниточку на первый раз тоже дам, потом уж сам искать будешь. Мадам знакомила тебя с Ребиковым?

Клеточников подтянулся, внимательно глядя в рот шефу:

— Так точно-с.

— Сей студентик был подготовлен нами к высылке. Но... решено отложить ее: за ним желательно, оказалось, понаблюдать... Может, наколешь рядышком очень крупный объект! Есть у нас о нем такая информация, — щегольнул Кирилов модным иностранным словечком и от удовольствия даже пальцами щелкнул.

Итак, наступило оно, наконец, печальное прощание с «мадам»! Как она плакала, расставаясь с другом, больше того — с крестником по секретной службе! Но пришлось подчиниться дисциплине Третьего отделения! Ведь Клеточников переезжал на квартиру к Ребикову, к своему поднадзорному...

— Обещайте, милый друг, никогда, нико-гда меня не забывать!

— Обещаю, мадам, от всей полноты сердца. Вы тоже не забывайте.

Друзья на прощанье расцеловались.

БЕЗДАРНЫЙ ШПИК

— Хочешь в городе до весны протянуть?

Высокий лохматый Ребиков лишь устало пожал плечами: чего спрашивать, чего дразнить его душу тем, что не может, не в силах сбыться?

Уже несколько лет помогал он землевольцам: прятал у себя на квартире подпольщиков, переносил нелегальную литературу в тайники, выполнял разные мелкие поручения товарищей. До сих пор все сходило студенту гладко. Однако недавно полиция произвела внезапный обыск у него на квартире, и за иконой жандарм обнаружил три спрятанных номера подпольной газеты. С таким «поличным» по всем статьям полагалась немедленная административная ссылка — если не в отдаленнейшие места Сибири, то уж, во всяком случае, в «места не столь отдаленные». Странно, однако, было, что его не взяли сразу же — чего-то они ждали. Собственно, он давно понимал, что рано или поздно провалится, — сколько веревочка ни вейся, кончик найдется, — и внутренне готовился, но...

Но обидно, страшно обидно, что это случилось именно сейчас, за несколько месяцев до защиты диплома! Если бы дотянуть в городе еще хотя бы полгода — до весны... С дипломом врача в кармане ему не страшны никакие «не столь отдаленные места» — он и сам собирался, закончив Медико-хирургическую академию, покинуть Петербург, отправиться в глухую деревню и лечить там народ. Но недоучившийся студент, что он сможет сделать в местах ссылки, в деревне, как заработает на жизнь, кому он будет нужен? Ведь лечить больных никто без диплома не позволит, а другого он ничего не умеет...

— Так хочешь протянуть в Питере до весны? — усмехнувшись, еще раз спросил его Иван Петрович.

Ребиков вдруг почувствовал, что говорят с ним всерьез, встрепенулся.

— Конечно. Зачем вы спрашиваете?

— Я познакомился недавно с одним шпионом, которого начальство как раз надумало приставить к тебе, — медленно, как бы одно за другим, цедил слова его собеседник, о чем-то раздумывая.

Ребиков нервно подскочил на стуле, недоумевающе уставился на Дворника, потом пересел на кровать, забарабанил пальцами по спинке.

— Ну? Что?!

— Так себе человечишка, мелкая тварь. Знаешь, из той породы филеров, от которых можно на улице отвязаться, сунув им в лапу пару целковых, на худой конец красненькую.

— Да не тяните душу, Иван Петрович! Что же?

— В общем мне с ним удалось столковаться. Ему нужна квартира, филер этот из приезжих, нездешний... так что вы будете вместе жить. За квартиру же платить придется тебе одному. Согласен? Не слишком ли накладно будет? Это вся ему плата за услугу, заметь себе...

— Да что вы!

— С него за глаза хватит, помни, не вздумай сам его подмазывать — испортишь всю музыку. Такой народец распускать нельзя, нельзя показывать им, что слишком ценишь их услуги. У будущего твоего соседа характер весьма ленивый, поэтому доносы тебе придется писать на самого себя. Это обязательно.

— Ого!

— Да, это его единственное, но совершенно непременное условие. Иначе он никак не соглашался. На себя же филер берет обязательство точно переписывать твои сочинения и относить их по начальству. Остальное, значит, зависеть будет только от тебя самого: сколько времени сумеешь заинтересовать своей персоной и своими связями жандармов. Кто знает, может, ты и успеешь сдать экзамены, получить диплом. Попробуем?

Ребиков вскочил, бросился к гостю.

— Предел жизненных мечтаний! — восторженно бормотал он, пытаясь в избытке чувств обнять Ивана Петровича...

С той поры вперемежку с дипломом он стал сочинять на себя доносы. Увы, оказалось, что это не простое дело и требует оно специфических талантов. Доносы у Ребикова получались неяркими, куцыми и фальшивыми. Только раз вышло правдоподобно, когда свидание с дядей-генералом было изображено в виде конспиративной встречи с вожаком подполья.

Две недели филеры выслеживали генерала, пока тот не заметил наблюдения. Нахлобучку бедняги получили от самого шефа жандармов!

Все эти недели Клеточникову жилось довольно спокойно: он переписывал ребиковские доносы и доставлял их вместе с прокламациями (взятыми прямо из тайной типографии!) на секретную явку шпионов. Вот и вся служба. Но скоро выяснилось, что такого матерого лиса, как шеф политической агентуры, долго водить вокруг пальца совершенно невозможно.

...В тот незабываемый день Клеточников, прогулявшись по Невскому, незаметно юркнул в парадное трехэтажного дома на углу Фонтанки и поднялся по лестнице на самый верх.

Здесь находился тупик с единственной дверью. Позвонив, он показал открывшему ее человеку записку со срочным вызовом и немедленно был допущен пред очи своего начальства.

Кирилов посмотрел на агента без радости, без восторга проглядел очередной номер подпольной газеты (Клеточников доставил в Третье отделение почти полный комплект нелегальщины) и без внимания прочитал его новый донос.

— В ваших сообщениях, — вдруг отрубил он съежившемуся, оробевшему филеру, — нет главного. В них нет божьей искры! Вы, Клеточников, безнадежны как агент!

Нелепо улыбнувшись, бездарный филер вдруг стал объясняться и возражать.

— Но, в-ваше превосходительство, мне весьма затруднительно служить филером! Слаб здоровьем, страдаю легкими, ноги устают... Опять же близорук... Что же делать?.. В отчаянье прихожу, что не оправдал рекомендации...

Шефу агентуры было трудновато отвечать ему: Кирилов сам принимал Клеточникова в штат, не обратив внимания и не сделав никакого замечания насчет его профессиональной непригодности. Близорукий шпик — ведь сразу ясно было, это курам на смех! Но что прикажете делать с тетушкой? Приста-

ла тогда как банный лист — возьми да возьми. А теперь изволь расхлебывать!

— К тому же я, ваше превосходительство, — Клеточников как будто уловил эти сомнения начальства и стал напирать, — прямой, понимаете, по естеству своему человек. Двойная игра мне противна, — тут голос его даже задрожал от избытка честности.— Не могу без отвращения слушать революционные теории этих нигилистов. Как же мне в сем случае доверие внушать?

«Может, действительно пришла пора надавить на его превосходительство? — проносится в мозгу. — Этот старый негодяй зачем-то с важным видом листает пачку ребиковских доносов... Уволить меня он, пожалуй, сейчас не уволит — тетушкино наследство манит... А Иван Петрович все твердит: надо завоевать в полиции важное место или уж рискнуть изгнанием оттуда, — все равно кутузовские меблирашки да конспиративную квартиру для встреч шефа со шпиками выявили, кажется, до конца. Пожалуй, прав Иван Петрович, пора нажать».

— Мне бы хоть что-нибудь... хоть где-нибудь попривычней, — жалко клянчит проштрафившийся шпик, а глаза его — глаза охотника, подстерегающего добычу, — скромненько опущены вниз, на паркет. — Мне бы в канцелярию...

«Только бы не спугнуть этого самоуверенного буйвола! Вот-вот... сейчас он зайдет в западню... Сейчас. Кажется, он уже оценил аккуратный, жемчужный почерк своего филера... На это поставил нашу главную ставку Иван Петрович. Ну! Еще немножко!»

— Этого господина вы случаем не знаете? — прозвучало как выстрел.

С фотографии, зажатой в мягких волосатых пальцах Кирилова, смотрел на Клеточникова умными своими глазами Иван Петрович, он же Дворник, он же обитатель тридцать шестого номера гостиницы «Москва», отставной поручик Константин Поливанов.

— Никогда его не встречали? Ась?

— Не знаю. И в альбоме такого лица не помню.

— А жалко, что не знаете! Вас бы сразу наградили, — шеф усмехнулся. — Запомните навсегда, — фотография приближается к самому лицу Клеточникова. — Только что достали этот новый снимок для альбома. Ежели встретите его — постарайтесь, задержите любым способом! Некто Александр Михайлов, он же «Катон-цензор», «Петр Иванович», «Иван Петрович» и так далее... Главарь подпольного мира, учредитель «Земли и воли», наш самый опасный противник. Хуже его сейчас нет в революции никого: умен, дьявол, исключительно энергичен, очень осторожен!

К чему он это говорит? Куда, лис, клонит? Чего добивается?

Клеточникову уже кажется, что его запутали, обвели, что вот сейчас шеф агентуры нанесет последний и неожиданный удар — ведь ему, наверно, все известно, разговор о Михайлове лишь ловкая игра полицейского кота с пойманной мышкой. Конец? Его разоблачили? Да, конечно, конец. А если нет, то почему, с какой стати с ним заговорили о Михайлове?

А квадратное, с крупными, грубыми чертами лицо начальника засияло от удовольствия. Он ясно видит, как изумлен и сбит с толку его «интеллигентный» шпик. Теперь с этим регистратором можно что хочешь сделать: голыми руками можно брать за оттопыренные жабры. Именно в такое вот состояние и желал привести своего агента превосходительный Григорий Григорьевич. И — сам не ожидал столь быстрого успеха. Даже лишку, видно, хватил. Тот совсем перед начальством в трепет вошел.

«По-дружески» шеф напомнил своему агенту события последних лет. На Украине, в Чигиринском уезде, вожаки «преступного тайного сообщества — Исполнительного Комитета Социально-революционной партии» подготовили и едва не начали бунт десяти тысяч мужиков; в Одессе другой кружок подполь-

щиков задумал еще более страшное дело — взорвать его величество на собственной яхте! На юге нередко раздавались выстрелы и падали сраженные пулями агенты, жандармы, прокуроры. На севере, даже в Петербурге, обстановка пока что казалась потише; правда, года два назад на Невском проспекте демонстрация землевольцев подняла красное знамя, а через некоторое время некая Вера Засулич стреляла в полицмейстера Трепова в собственной его приемной. Но только с лета прошлого, 1878 года, когда неизвестный государственный преступник заколол на площади кинжалом его высокопревосходительство шефа жандармов генерала Мезенцева, Третьему отделению стало очевидно, что преступный Исполнительный Комитет переносит свои главные действия с юга в столицу и, значит, здесь отныне будет идти решающая битва за престол и отечество с врагом внутренним.

— Осознали вы это?

Волосатый палец Кирилова грозно уставился в Клеточникова.

— Осознал вполне... ваше превосходительство.

Начальнику понравился виноватый взгляд и виноватый тон шпика. Но разговор требовалось довести до конца.

— Посему и было приказано провести большое расширение штатов агентуры в столице, и вы, господин Клеточников, получили у нас место. Однако, ежели на самом деле осознали, на какую важнейшую службу мы вас принимаем, то сможете сделать и сами вывод: можем ли мы в такой опасной обстановке держать вас — бездарного — филером в Санкт-Петербурге?

«Вот к чему вел дело!..»

— Нет! Не можем. Не просите... Не вам, дорогуша, искать в столице «Катона-цензора» — Михайлова или Николая Морозова, «Поэта». — И начальник агентов спрятал фотографию Дворника в ящик стола.

«Это все... Да, все. Жалко. Очень».

— Идите, идите домой, милейший. Я же, в свою очередь, обещаю о вас подумать. Хорошо?

Когда через пять минут Клеточников покидал тайную квартиру, опытным взглядом он заметил, как по его следу отправился агент проверочного наблюдения.

Его подозревают?

А может, наоборот? Может, еще не все потеряно?

Может, он все-таки понадобится генералу Кирилову?

ПРОШЛОЕ ПОТРЕБОВАЛО РАЗГАДКИ

Человек проснулся в шесть утра.

Над его кроватью висел приколотый кнопкой лист бумаги. На листе — любимое изречение: «Не забывай своих обязанностей». Он никогда не забывал их. Не позволил себе понежиться в кровати ни одной секунды. Вскочил, оделся, выбежал на улицу, отправился по срочным делам. Обязанностей у него было много — суток для них не хватало.

...С шести тридцати до девяти он обошел семь квартир «жертвователей», собрал взносы в кассу партии. (Ему «жертвовали», доверяли и давали деньги щедрее и чаще, чем кому-либо другому).

...С девяти до двенадцати он распределил собранные средства по организациям. Большую часть средств и полученную из-за границы литературу отправил с верными связными в деревенские поселения землевольцев, остальные деньги оставил для работы в городе.

В двенадцать тридцать встретился на явке с Оратором — Георгием Плехановым, руководителем рабочей секции партии. Передал ему средства для издания листовок. Оратор долго возражал против несправедливого, по его мнению, распределения партийных финансов. И, как нередко бывает, начали они разговор с этого частного, сугубо практического вопроса и сами не заметили, как заспорили о самом

главном, о самом важном для обоих: что делать организации дальше? Каким должен быть путь «Земли и воли» к революции?

— Все люди, все силы уже в деревнях, посланы агитировать крестьян, — горячился Плеханов. — Туда же уходит и три четверти денег. А толку что? Об забитый деревенский люд партия бьется как рыба об лед!

— И все-таки в народе работать необходимо. Без него — пустота, безнадежность, без него ничего не сделаешь...

— Но сначала надо найти рычаг, чтобы сдвинуть этот народ к восстанию. Мы почему-то обязательно хотим лезть напрямую — в деревню, агитировать в деревню!.. В городе оставили совсем мало наших, а погляди на итог! Десятки кружков созданы, едва ли не на всех питерских заводах...

— И что же ты предлагаешь? Я все-таки не понимаю...

— Вызвать обратно людей из деревень! Сюда! Все кинуть на заводы, на фабрики, в мастерские...

— Ну, положим, Центр примет твое предложение: мы оставим наши поселения в деревнях, двинем все к рабочим и — как лучший исход — сагитируем мастеровой народ. Что же дальше?

— Дальше?

— Рабочих в России мало, ты знаешь, — двое на тысячу крестьян. Их сил для победы не хватит. И значит, мы скоро опять пошлем людей в деревни, восстанавливать связи и явки. Стоит ли в таком случае бросать дело, чтобы потом все равно к нему вернуться? Вот поэтому твое предложение мне и другим товарищам, кто тебя слушал раньше, кажется пока непрактичным.

— И все-таки подумайте над моими словами. Крестьянство у нас как пороховой погреб под государством. Но пороху всегда нужен запал, чтобы он взорвался. Поверь, для русской революции этот запал — в рабочих, я так говорю, потому что знаю, работаю среди них. Рано или поздно вы все поймете это!



— Ты преувеличиваешь, Жорж...

С пылким и упрямым Плехановым все труднее спорить, все труднее договариваться о делах организации...

В три часа дня он посетил Александра Квятковского, который возглавлял группу боевиков, или, как их называли в партии, «дезорганизаторов». «Дезорганизаторы» истребляли шпионов, организовывали покушения на самых ретивых и опасных жандармов, осуществляли и другие особо сложные и опасные боевые поручения. Сейчас они готовили побег одного товарища из тюрьмы.

— Рысак готов? — спросил он у Квятковского.

— Все готово. Посты распределены. Городовых вокруг тюрьмы разобрали. Всех извозчиков по соседству уведем со стоянок: люди уже назначены...

— А какой сигнал выбран к началу побега?

— Для группы сигнал начала — заиграет скрипка в соседнем доме. Потом Сашка запускает желтый воздушный шар в небо, и тогда в тюрьме начинается побег.

— Куда его спрячете, ежели сойдет удачно?

— Поедем из тюрьмы к Невскому, прямо в ресторан Доминика. Гуляем там до ночи, пока по всем квартирам не пройдут обыски. У Доминика никто не догадается искать. Но на это нужны деньги. Сегодня же, и побольше.

— Бери. Придумано недурно. Меня возьмешь — хоть наблюдателем к тюрьме? — в голосе Михайлова вдруг прозвучала просьба. Он никак не мог привыкнуть, что товарищи берегут его и не любят брать на самые опасные дела.

— Хорошо, — неожиданно легко согласился Квятковский, — мне как раз нужен еще один человек. Станешь здесь, у переулка, — он показал место на плане, — и закроешь его так, чтобы никто не помешал на перекрестке...

Это был обычный день в жизни подпольщика день, каждая минута которого могла оказаться последней минутой его свободы. На улицах Михайлова подстерегали филеры, в квартирах — жандармские

засады; провокаторы строчили на него доносы, помогая Кирилову, давно охотившемуся за Дворником, схватить неуловимого противника. Лишь удивительная осторожность, ставшая у него почти автоматической, великолепное знание города, всех улиц и проходных дворов, уменье с одного взгляда выделить в толпе лицо филера и незаметно оторваться от него; только постоянная внимательность Александра к знакам опасности на окнах, предупреждавшим его о засадах, и к тысячам других мелочей, — только это и спасало его от провала, только это позволяло осуществлять чрезвычайно сложное руководство организационными делами русского революционного движения тех лет.

...В пять вечера его видели в кружке в университете. Он присмотрел там юношей, которых стоило подготовить к вступлению в партию, и мысленно наметил им воспитателей. В шесть он зашел к этим воспитателям и поговорил о будущих подопечных. Оставалось еще написать, зашифровать, отправить на юг и за границу несколько писем. Но на это уже не хватило времени.

Наступил час встречи с Клеточниковым.

Они встретились на самой надежной из явок. Александр Михайлов по привычке легко вышагивал по комнате из угла в угол и в то же время незаметно вглядывался в своего маленького, тихого собеседника.

Что его так привлекло в этом неуклюжем близоруком человеке? Пожалуй, больше всего солидность возраста: Клеточникову уже исполнился тридцать один год. Для подпольщика это было необычайно много (самому Михайлову только двадцать три, а ведь он считался в «Земле и воле» одним из «стариков», учредителем). До тридцати одного года прожил Клеточников вне полицейского надзора, не состоял на заметке в полицейских книгах, не числился в списках «злоумышляющих» лиц. Но сумеет ли теперь этот редкостный человек справиться с заданием, ради которого, собственно, задумана была вся комбинация с водворением его в Третье отделение?

Александр Михайлов, в прошлом Катон-цензор, а

ныне Дворник подполья, то есть хранитель его чистоты и порядка, не очень представлял себе, как произойдет разговор с Клеточниковым. Руководителю организации надо было увлечь своего разведчика поставленной задачей, заставить его осознать всю важность ее для общего дела.

— Полгода назад, — он начал издалека, — мои товарищи казнили главного палача — шефа жандармов Мезенцева. Он только что утвердил смертный приговор нашему другу и за это был заколот через день после гибели своей жертвы — сразу, как только мы узнали о казни товарища. Я тоже принимал участие в том деле. Нас искали. Но партия была спокойна: конспирация казалась надежной, товарищи были верные, сам исполнитель казни благополучно скрылся на явке в центре города, а потом выехал за границу. Мы были спокойны настолько, что многие разъехались по делам: меня, например, отправили на Дон — там готовилось большое дело. Вдруг в Ростове получаю телеграмму: Центр партии провалился, лучшие люди арестованы...

Дворник передохнул, налил воды и судорожно начал глотать ее. В первый раз видел Клеточников своего нового друга в состоянии такой необычной взволнованности.

— Теперь, когда вы так удачно ушли с филерской службы, ваше новое и главное задание, — продолжал Михайлов, — связано будет как раз с этим непонятным провалом. В первую очередь нас интересует судьба двух арестованных — Генеральши и Сабурова. Генеральшу на самом деле зовут Ольгой Натансон. Эта маленькая черноглазая женщина, которая нынче умирает в крепости — умирает в двадцать шесть лет, — была одной из создательниц нашей партии, руководителем и самым любимым другом, самым любимым человеком в «Земле и воле». А в соседней камере умирает Сабуров, умный, светлый, чистый наш товарищ, создатель партийной типографии и паспортного бюро, создатель наших лучших явок. И перед смертью этих людей мучает только одно: кто выдал полиции Центр партии? Кто и поныне угрожает

ее существованию? Вот это вам и предстоить узнать — во имя нашего дела, в память друзей.

Михайлов понизил голос.

— Я сам тогда чуть не попал в засаду, сразу по возвращении из Ростова, и помню: все выглядело очень подозрительно, меня явно ждали. Но кто выдал?! Ведь в организации все свои, все проверены были в работе, и не первый год... Не могу ничего придумать! Задание понятно, Николай Васильевич?

— Конечно, — тихо ответил Клеточников, — надо будет, наверно, посмотреть в архиве...

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ШПИОННИЦА»

Недалеко от места впадения Фонтанки в Неву, между Летним садом и Михайловским замком, построили каменный горбатый мост. По краям поставили четыре башенки, протянули между ними цепи и прозвали мост Цепным.

Если пройти по мосту на левый берег Фонтанки, то по правую руку можно увидеть некрасивый светло-бордовый особняк. Это здание похоже на доходный дом: у него нет ни обязательных для парадных петербургских зданий колонн на фасаде, ни львиных морд на карнизах, ни доспехов на фронтоне. Это очень скромное, спокойное, тихое здание.

В нем не чувствуется ничего опасного, ничего зловещего. Сейчас люди давно позабыли, что именно здесь некогда вершила и вязала судьбы миллионов российских обывателей чудовищная «шпионница» — Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии.

Если потянуть на себя тяжелую резную дверь Третьего отделения — для скольких людей она стала входом в тюрьму, на каторгу или на виселицу, — то и теперь можно увидеть широкую беломраморную лестницу, светлую, легкую, как бы взмывающую

кверху, украшенную кариатидами. Посередине она прерывается продолговатой площадкой, где некогда круглые сутки сидел дежурный чиновник, проверявший документы у посетителей. В Третьем отделении на этот пост обычно ставили какого-нибудь молодого нагловатого господина с ясным и самоуверенным лицом истукана, исполняющего долг.

У своих этот дежурный удостоверения не спрашивал: в Третьем отделении все знали всех. Каждый был проверен, каждый знаком начальству до тонкостей. Измена никогда не могла проникнуть сюда, в главный оплот империи, в штаб тайной политической полиции. И даже мысль о такой измене никогда не возникала у ветеранов политического сыска.

...Вечер. В большом зале Третьего отделения скрипят перья — это пятеро делопроизводителей заканчивают переписку дел. На их конторках и столах сложены кипы бумаг, головы чиновников зачастую не видны из-за этих груд. Первым кончает работу самый стремительный и самый старательный. Это новичок.

Новичок одержим работой. Старики, как говорится, проевшие зубы на службе Третьему отделению, и те удивляются беспредельному старанию нового помощника делопроизводителя. Энтузиазм в работе — необычайная, странная вещь в стенах этого сурового заведения, и он не может не вызвать к себе повышенного интереса. «Нашел себе Кирилов хорошего ослика, — ехидно сплетничают чиновники. — Тянет дела за начальство, дурачок! На наградные, что ли, рассчитывает? Как бы не так...»

Но в общем к новому чиновнику здесь относились неплохо. У него всегда можно было занять денег на попойку, а главное, он оказался очень компанейским человеком во всем, что касалось службы.

Вот, например, сейчас он обводит товарищей внимательным взглядом, и кто-то из них сразу зевает, якобы не в силах взяться за перо.

— Кончили?

— Черт бы все это взял — нет! Разве можно когда-нибудь кончить все эти дела? Курить смертельно хочу, а тут надо торопиться, торопиться...

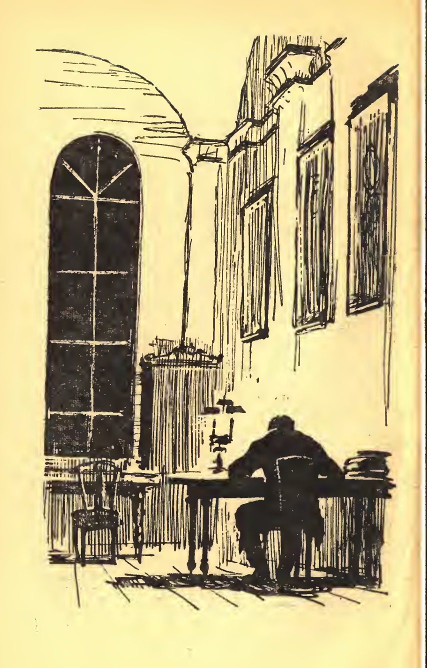
— Да вы идите, кончу за вас.

— Любите работать? — чиновник уже не в состоянии сдержать довольную ухмылку. — Тем лучше для меня и хуже для вас.

Бьют часы. Все расходятся, оставляя фанатика бумажной переписки в одиночестве. Кое-кто про себя удивляется: как не жаль человеку портить здоровье ради сомнительной карьеры? Но никто этого не скажет вслух: иметь такого работящего карьериста у себя в учреждении удобно и выгодно.

В опустевшем особняке осталось двое — дежурный на площадке и новичок в канцелярии. Поработав немного, чиновник встает и начинает бродить по залу, вдоль конторок и столов сослуживцев. Если сейчас сюда заглянет дежурный, он увидит, как уставший от напряженного труда помощник делопроизводителя прохаживается по пустой комнате и, в рассеянности опираясь на чужие столы и конторки, машинально листает оставленные на них бумаги. Думает он при этом о чем-то своем, беззвучно шевеля губами.

Со стен на него глядят портреты сановников, создавших и выпестовавших Третье отделение — мозг государственной полиции. На самом почетном месте, над столом начальника канцелярии, висит изображение Александра Христофоровича Бенкендорфа, генерал-адъютанта Николая I. Кажется, будто граф Бенкендорф исподтишка наблюдает за новым помощником делопроизводителя. Чиновник невольно вглядывается пристальнее в проницательные, хитрые глаза графа, удачно схваченные на портрете неизвестным живописцем, и вдруг ему припоминается сцена, описанная в одном эмигрантском журнале. ...Июль 1826 года. Николай I, недавно взошедший на престол, вызывает к себе Бенкендорфа и властно произносит: «Жалую тебя, Александр Христофорович, главноуправляющим Третьим отделением моей канцелярии». Бенкендорф растерялся, сразу не сообразил, о чем ведет речь император. Ведь у собственной его величества канцелярии было дотоле всего два отделения: первое — комиссия по приему прошений на высочайшее имя, и второе — комиссия по составлению и



кодификации законов. Но третье? «Каковы предначертания Третьему отделению, ваше величество?» — спросил генерал, рискуя вызвать гнев повелителя: Николай обычно не терпел вопросов. Однако на сей раз такой вопрос, видимо, был предусмотрен, а ответ — заранее подготовлен императором, причем с явным расчетом на историю. «Вот тебе мой носовой платок, — он протянул державную длань своему генералу, — чем больше слез утрешь у сирот и вдовиц, тем лучше исполнишь мои цели».

Вот так якобы и была создана Николаем I в империи тайная государственная полиция, так с той поры и начали голубые мундиры утирать слезы сирот и вдовиц...

Насупротив Бенкендорфа повешен поясной портрет его преемника, другого николаевского любимца — светлейшего князя Алексея Орлова. Переводя взор на этот портрет, чиновник мысленно усмехнулся: до чего же стремился бравый Орлов походить на императора! Так же нафабрил шевелюру и усы, такие же отпустил бакенбарды и попытался придать лицу то же безжизненное выражение. Самый любимый из фаворитов Николая I! В добрую минуту, говорят, царь называл князя Орлова «братом Алексеем»: вот какой любовью и доверием пользовался у Николая шеф жандармов номер два!

Много пришлось этим двум генералам пролить крови и слез человеческих, чтобы оправдать любовь и доверие своего повелителя. Но не Бенкендорфу с Орловым, этим придворным дипломатам и политиканам, суждено было вдохнуть истинную жизнь и энергию в ту страшную машину, с помощью которой Николай I самодержавно правил Россией. Всю «черную», организаторскую, кропотливую работу исполнял за свое начальство человек, чей портрет висел ныне на самом почетном месте — в кабинете у самого Кирилова. Человек, бывший кумиром и идолом всех российских жандармов, человек, у которого не было на эполетах генерал-адъютантских вензелей, и тем не менее именно он воспитал ветеранов сыска, именно он создал в империи систему тайной полиции...

Канцелярист помнит его лицо: исхудалое, оттененное длинными светлыми усами, усталый взгляд, рытвины на щеках и лбу. Начальник штаба корпуса жандармов и управляющий Третьим отделением генерал-лейтенант Леонтий Васильевич Дуббельт...

Странной и по-своему трагической фигурой был этот генерал. «Много страстей, должно быть, боролось в этой груди прежде, чем голубой мундир победил, или, лучше, накрыл все, что там было, — писал о Дуббельте Герцен, который считал этого человека — канцелярист помнил слова Искандера наизусть — умнее всего Третьего и всех трех отделений собственной канцелярии». Честолюбие и корыстолюбие победили в незримой схватке, Дуббельт отдал свои необыкновенные способности и ум делу тайной полиции, он продал дьяволу душу, и только время от времени внезапные истерики генерала слегка изумляли и пугали его близких. Дуббельта ненавидели, презирали и боялись современники. Ох, как боялись его все — даже могущественные аристократы! Во времена Николая I перед Третьим отделением действительно трепетало все, кроме, пожалуй, нескольких особо дерзких вольнодумцев. Третье отделение было в государстве всесильным. Под неусыпным наблюдением тайной полиции находились не только подозрительные отщепенцы и заговорщики — нет, все чиновники, все губернаторы, все министры, даже великие князья, даже сам царь — за всеми был надзор, никто шагу ступить не мог без ведома шефа жандармов.

А кто знал тайны придворных кругов, тот почти все мог в империи.

Одну за другой вынимает он эти папки и, склонившись над конторкой, листает дела. Надо найти то самое, о котором ему говорил Дворник.

Чиновник отрывает взгляд от портретов сановников и подходит к шкафу. Открывает его: там лежат самые интересные дела, стекающиеся сюда со всех концов России. Сколько их скопилось здесь в красных папках за входящими номерами? Сотни? Тысячи?

Но если бы в Третьем отделении ввели внезапно систему обысков при выходе со службы, ни клочка

секретных документов не обнаружили бы у этого чиновника бдительные стражи.

Он никогда ничего не записывал.

У новичка оказалась исключительная, феноменальная память. Наизусть запоминал этот человек десятки самых важных фамилий, адресов, цифр и никогда не ошибался.

...Да, прошло уже полтора месяца с того дня, когда проверочное наблюдение за ним окончилось вполне благополучно и Кирилов объявил окончательное решение: «Перевожу вас, Клеточников, на письменную работу в мою канцелярию. Почерк хорош, прямо как у царских писарей!» Чиновник изобразил на лице покорное безразличие, но внутри — внутри у него все ликовало. Еще бы! Кстати, он станет на десять рублей получать больше — такое доверие начальства надо же оправдать! Пришлось, естественно, всячески показывать, как старается он на новом посту, как стремится загладить свой неудачный дебют в роли шпика. И кажется, его старания заметили.

Все это время у него не оставалось свободных вечеров; он не ходил в театры, в гости — со стороны казалось, что он весь отдался службе Третьему отделению. Лишь по воскресеньям коллежский регистратор изменял обычный житейский распорядок дня — в такой день можно было ему и поразвлечься. Хотя бы немного!

Тогда он надевал черный визитный костюм, обувал модные узконосые туфли, украшал голову элегантным французским котелком и укутывал горло цветастым кашне. В левой руке покачивался темно-зеленый из крокодиловой кожи портфель, правая цепко держала за серебряную львиную голову изящную бамбуковую тросточку. Сразу было видно — идет по Петербургу солидный служащий солидного учреждения.

Вот и цель его путешествия — зеленоватый домик на Васильевском острове. Здесь снимала отдельную квартиру из двух комнат его «невеста» — Наташа Оловенникова. У человека с перспективами и невеста, конечно, была со средствами. Дворник, отставной николаевский солдат, почтительно ему кланялся: недав-

но прошел слушок, что Натальина жениха... соседи сами видели, как он туда ходит... в дом у Цепного моста...

А нет ли за ним самим какой-либо слежкн? Похоже, что есть. Вот тот господнн в пальто грязно-желтого, так называемого, горохового цвета, из-под которого болтаются на худых короткнх ногах брюки с ободранными штрипками, вон тот — разве не похож он на агента, известного в Третьем отделенин под презрительной кличкой «Мразь»?

Клеточников замечает его у самого входа в дом и презрительно усмехается: тоже ловкач, знаменитый сыщик! Повернувшнсь спиной, Мразь разглядывает в маленькое зеркальце соринку в глазу.

Известна нам, дорогой, эта сорннка!

Что ж, смотри, смотри, Мразь. Иметь невесту не запрещено строгими правилами Третьего отделения. Интересно, почему он решил следить? Это новое проверочное наблюдение по указанию Кирилова? Или Мразь сам, от завнстн к последннм успехам Клеточникова у шефа, рассчитывает поймать его на чем-то недозволенном? Или... Нет, чепуха, скорей всего очередная проверка: Третье отделенне подозрнтельно.

Он уверенно входит в дом, звонит. Дверь открывает Наташа — красавнца с высоким лбом, с чудными карими глазамн. Приятно на нее глядеть, приятно любоваться ею. «Жених» в нее действнтельно немного влюблен.

Через несколько минут, озираясь, прнблнжается к двери дома н тот самый господин в гороховом пальто. Начальство из штаба отдельного корпуса жандармов выписало всем фнлерам по наряду эту своеобразную «спецодежду» — совершенно однnаковые для всех сотруднnков пальто, причем запоминающегося цвета; и теперь прнскорбная их примета хорошо известна всему Петербургу. Поэтому на серьезное дело гороховую форму ннкто не надевает; но не трепать же Мразн, то есть Егору Кенясову, собственное драповое пальто на каком-то жалком проверочном наблюденин! Не такие ему деньгн платят на службе!

— Кто ходит в двенадцатую квартиру? Кроме гос-

подина Клеточникова, — строго спрашивает он старика дворника.

— А вы кто такой? — поднимает голову дворник.

Мразь грозно и выразительно глядит на него:

— Не первый год метешь. Понимать должен...

Дворник, в свою очередь, оглядывает его и, видимо, остается доволен осмотром.

— Так что, кто в двенадцатую ходит, кроме господина Клеточкина? — старик был в общем-то рад по привычке поболтать, посплетничать да еще тем самым оказать услугу великой державе Российской. — Почитай, никто. Двоюродный братец к ней по воскресеньям захаживает, вот и все. Кроме жениха да брата, никого к себе не пускает. Как монашка, отсиживается в дому, даже в теятер не ходит. Известное дело, жених у нее приличный, хоть невзрачен на вид, к чему ж его знакомствами отпугивать, шантрапой какой-нибудь. Она девица, себя блюдет, ето дело хорошее...

Кенясову страшно хочется уйти скорее домой. Для очистки совести надо бы, конечно, подождать выхода братца и последить за ним тоже. Но... сегодня воскресенье, праздничный день. Сколько можно работать! И вообще, какая, к черту, может быть слежка в воскресенье! Да еще за своим!

На следующий день после доклада Мрази действительный статский советник Кирилов убеждается лишний раз, что его новый чиновник подозрительных связей не имеет.

АНОНИМКА В СОБСТВЕННЫХ РУКАХ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА

— Здесь мой будущий шурин? — мрачно шутит Клеточников, вешая пальто на деревянные плечи.

Девушка покраснела. Но «братец» — Александр Михайлов сам вышел в переднюю встретить дорогого гостя.

— Что, детинушка, не весел, что головушку повесил? — смешно наморщив нос, затеребил он унылого, даже угрюмого гостя.

— Возненавидел я человечество...

— С чего бы это? — засмеялся Александр.

— Вы бы в моей шкуре побывали. Не могу, не хватает сил больше служить в этой государственной помойке! Иногда кажется: там не люди работают — обезьяны в мундирах, жадные, глупые, грубые обезьяны сортируют вонючие доносы.

Михайлов по-детски фыркнул. Но Клеточникову было не до смеха: с мрачным видом прошествовал он в Наташину комнату. Александр последовал за ним и плотно прикрыл дверь.

— Есть новости?

Новости оказались исключительными.

Три дня тому назад Кирилов разрешил Клеточникову вечером поработать одному в архиве Третьего отделения: надо было срочно подобрать кой-какие справки к докладу начальника. Неожиданно для себя чиновник наткнулся в архиве на папку — ту самую, которую он безуспешно разыскивал уже больше месяца.

В папке лежало несколько аккуратно сложенных конвертов с анонимными письмами. Письма были написаны аккуратным чиновничьим почерком на глянцевитой бумаге с золотым обрезом. Вместо адреса на конвертах стояла одна и та же надпись: «В собственные руки Его Величества».

Судя по пометкам на полях, анонимки дошли до адресата и были внимательно прочитаны.

— Опущены в почтовый ящик у ворот Зимнего! — догадался Михайлов. — В личный ящик царя.

Неизвестный доносчик указал в письмах не только адрес штаб-квартиры «Земли и воли», но дал также подробное описание примет всех землевольцев, посещавших эту квартиру. Довольно верно передавались разговоры, которые революционеры вели там между собой.

Сделать все остальное полиции было очень легко...

Но кто же он, анонимный предатель «Земли и воли»?

В субботу Клеточников подпоил жандармского штабс-капитана Соколова, «кириловского волкодава», самого жестокого и страшного человека в Третьем отделении.

Но из уст пьяного Соколова ничего не удалось вытянуть: похоже было, что политическая полиция сама не знала фамилии своего неизвестного «доброжелателя».

Несколько раз Клеточников повторял Михайлову содержание этих писем. Михайлов анализировал их, сопоставлял разные факты, сведения и, наконец, понял, что предатель не имел прямого отношения к организации, что это лицо постороннее.

Ниточкой послужило неоднократное упоминание в письмах имени младшей сестры одной из землеволок, шестнадцатилетней Валентины Малиновской. Ее когда-то пытались привлечь к организации: сестра девушки, Александра, хозяйка главной конспиративной квартиры партии, даже нарушила ради нее правила конспирации — она приводила девушку к себе в гости во время собраний землевольцев. Это нарушение казалось мелочью даже Дворнику.

Но мелочь обернулась трагедией. Девушка, видимо, испугалась смельчаков землевольцев и побежала к кому-то поделиться... Но к кому?

Может быть, она рассказала все своей тетушке, которая тоже упоминалась в письмах? — пробовал рассуждать Михайлов. Но старушка не могла стать доносчицей. Михайлов знал ее: богобоязненная раскольница, она тем не менее никогда не обратилась бы с доносом к царю. Скорей всего старушка посоветовалась с кем-либо из знакомых, а этот знакомый решил из ее рассказов извлечь выгоду для себя. В доносах поминались не известные Михайлову люди: должно быть, это были враги доносчика, которых он «вмешал в политику» и убрал со своей дороги руками полиции.

Другие вести, которые принес Клеточников, касались судьбы Владимира Сабурова. Полиция не

смогла установить, кто скрывается под этим именем, но это не смутило следователей. Приговор по указанию императора ему вынесли заранее: Клеточников сам переписывал проект.

— Удавка? — спросил Михайлов.

— Да. Смертная казнь по подозрению в убийстве шефа жандармов. А не все ли равно, — вдруг горько закончил Клеточников, — виселица или вечное заключение? Виселица даже лучше.

Это было сказано с такой проникающей в душу грустью, что Александр не выдержал:

— Да бросьте, Николай Васильевич, революция все равно неизбежно настанет! Надо только продержаться, и мы увидим ее приход!

— Я всегда знал, что в душе вы поэт! Блажен, кто верует, Иван Петрович. А я мизантроп, у меня нету веры, что доживу... Будет революция, знаю, но когда? Если б вы служили у нас, в Третьем отделении, вы бы поняли мою тоску и мою муку... Ладно, хватит разговоры разговаривать, займемся-ка делами. А то меня агент на улице заждался.

Михайлов замолчал, вздохнул, раскрыл толстую клеенчатую тетрадь и приготовил острый карандаш для записи. Тетрадь была уже наполовину исписана его ровным почерком.

— Пишите дальше: номер сорок восемь — преподаватель физики в реальном училище Иван Петрович Афанасьев, кличка «Палкин». Приметы: лицо квадратное, скулы слегка выдаются, лоб мал; ноги слегка выворачивает пятками наружу. Похож на медведя. Выдавал преимущественно учителей. В настоящее время...

Так от свидания к свиданию заполнялась эта знаменитая впоследствии в мире подполья «тетрадь Клеточникова». В ней была собрана целая коллекция агентов — триста человек, — подобрана по типам, охарактеризована, расклассифицирована. Различались агенты жадные, которые выдавали из-за денег, и агенты ничтожные, выдававшие из-за трусости перед начальством; наконец, самые опасные — агенты-охотники. Для этих последних, авантюристов без веры и



закона, революционеры казались просто «красным зверем», они с азартом, даже с риском любили охотиться на эту «знатную дичь». Но вот зачем им ловить революционеров? Об этом, по словам Клеточникова, ни один агент Третьего отделения не задумывался: об «идеях» они имели смутное представление.

Для страховки в книгу разоблаченных агентов внесли фамилию Николая Клеточникова. Но оба — и Дворник и Клеточников — понимали: если тетрадь попадет когда-нибудь в руки Кирилова, эта запись о Клеточникове вряд ли обманет действительного статского советника. Михайлов черкнул себе на полях для памяти: не забыть еще раз сказать в тайной типографии — в случае провала надо отстреливаться всем до последнего, но переданную туда на хранение клеенчатую тетрадь и бумаги сжечь во что бы то ни стало.

Уже стемнело, воскресный день кончался. «Родственники» попрощались.

Наташа проводила «жениха» до парадной двери, на глазах у дворника простилась с ним. Клеточников огляделся: агента проверочного наблюдения на месте уже не было...

А на следующий день в судьбе младшего секретаря тайной канцелярии произошел удивительный, фантастический взлет.

Началось с вызова к шефу.

НЕВИДИМКА ЗА РАБОТОЙ

Действительный статский советник Кирилов начинал свою службу рядовым шпиком еще при генерале Дуббельте. Немало намерзся он под фонарями, немало потерся в передних у начальства, за долгие годы прошел одну за другой все ступени политического сыска, пока не достиг, наконец, потолка — стал руководителем политической агентуры императорской тай-

ной полиции. Да, нечасто делались в России такие карьеры!

При случае сей господин умел проявить не только мощную и целеустремленную энергию, редкую пронырливость и беззастенчивую подлость, но также талант незаурядного лицедея и хитрость опытного знатока душ. Он был вовсе не прост, этот Кирилов!

Однажды, например, Клеточников видел, как Григорий Григорьевич беседовал с журналистом, человеком, правда, молодым, но довольно известным, которому шеф агентуры почему-то должен был понравиться. Кажется, журналист еще много времени спустя был убежден, что ныне в тайной полиции служат совсем не дуббельтовцы, а, напротив, либералы, и чуть ли не любители щедринской сатиры...

Да, Кирилов был опытным профессионалом сыска. И к тому же совсем недурным организатором полицейской сети.

Подчиненных не раз поражало в этом крепко сбитом, коренастом и толстоногом господине его умение буквально выдавить из них последние соки, заставить работать до изнеможения, если это могло принести какую-то пользу делу или самому Кирилову, особенно если это приносило ему деньги, до которых генерал оказался жаден невероятно.

Но было у него одно весьма уязвимое место, которое давало Клеточникову реальные шансы на успех службы в Третьем отделении: не было у генерала глубоких и серьезных знаний, чтобы досконально разбираться в специальных тонкостях порученных его экспедиции (отделению) дел. Вдобавок дела эти, сложные, запутанные, требовали еще и большой черновой работы, а ее Кирилов избегал делать всю жизнь: для подобной работы он всегда имел так называемого «человека-перо»!

Чем больше старый паук приглядывался к Клеточникову, тем больше старательный секретарь казался ему редкостной находкой: память у него исключительная, трудолюбие невероятное, и думает при этом только о службе. А главное, простец: из благодарности, что приняли его на службу, готов работать дни и

ночи. Кирилов, подобно всем необразованным и хитрым выскочкам, презирал сообразительность людей порядочных, и теперь ему казалось, что он нашел в Клеточникове искомое и нужное существо, ту самую обезьяну из пословицы, которая будет таскать для него каштаны из огня и получать взамен денег генеральское хорошее отношение. Не то что прежний, уволенный нынче секретарь, корыстный и вечно пьяный Праскухин...

Осторожно нащупывая почву, Кирилов при первом разговоре был ласков с новым помощником делопроизводителя.

— Давайте попробуем ваши силы в составлении резюме. Не теряйтесь, Николай Васильевич, не унывайте от неудач — не боги горшки обжигают...

Клеточников быстро познакомился с самыми пухлыми делами и извлек из них краткие и существенные выводы, самую суть для прочтения начальству,— «резюме».

— Вижу ваш рост, — снисходительно одобрял шеф. — Но вот до вас со мной работал Праскухин, так он все гораздо быстрее делал. Попробуем-ка достичь высшего... — и Кирилов, не в силах закруглить фразу словом, закруглял ее движением пальца.

Новому секретарю поручили просматривать отчеты губернских жандармских управлений и на их основе составлять сводные ежедневные рапорты о политических событиях в провинции.

Наконец Кирилов перестал притворяться деликатным и внимательным и заговорил с чиновником привычным языком, и к тому же сразу на «ты»:

— Вот что! Сделаешь до послезавтра мой доклад министру внутренних дел о политической ситуации в Петербурге. Да смотри не забывай, кому пишешь! Не тебе нести ответственность, твое дело словечки там разные подобрать, русский язык, а за дело кто отвечать будет? Кирилов. А меня люди знают. Так что работай как следует, а я потом посмотрю, может, вообще порву, — тут он подергал пальцами вверх и вниз, — и выброшу.

— А как со сведениями, ваше превосходительство?

— Все секретные материалы канцелярия будет давать тебе сколько требуется. Ну, приступай, Николаша, — так он называл Клеточникова нечасто, только когда хотел по какой-то причине выразить ему свою приязнь, — а я пойду погуляю, мне надо на свежем воздухе мысли собрать для доклада...

Доклад у Клеточникова вышел отличный. В виде исключения ему даже выдали к празднику наградные.

Так, постепенно, шаг за шагом, помощник делопроизводителя Третьего отделения стал помощником управляющего тайной экспедицией, стал его «невидимкой», его «референтом по особо важным делам», или, выражаясь языком того времени, его «пером».

Ну как было не оценить такого незаменимого работника! Его даже стали приглашать на узкие вечеринки руководителей тайной полиции. А в конце концов Кирилов расщедрился и выхлопотал секретарю награду — орден Станислава третьей степени. Жалованье Клеточникова стремительно возрастало от месяца к месяцу: вместо тридцати — сорок, потом пятьдесят, семьдесят пять, сто, сто двадцать пять рублей в месяц! И наградные — сто, двести, триста рублей!.. Кирилов не жалел для своего чиновника казенных денег. Пусть знает! Пусть чувствует! Пусть старается!

И Клеточников старался. Только — не для Кирилова.

НОЧНОЙ ВИЗИТ

К исходу третьего месяца службы Клеточникова в полиции у Александра Михайлова, помимо клеенчатой тетради со списком агентуры, оказался десяток других тетрадей. В них находились копии важнейших политических доносов, составленных и штатными агентами и добровольными осведомителями Третьего отделения.

Михайлов — Дворник и Николай Морозов — Поэт только диву давались, читая нелепости, нагорожен-

ные в этих сочинениях. Особеиио поражали их фаитастические истории, которые складывала о них самих, о революционерах, пылкая студеическая молодежь. Все подобные истории заносились аккуратио в дела Третьего отделения, анализировались там и изучались, хотя иа девяиосто девять процентов это были самые невероятные выдумки.

— Авантюриый ромаи! — улыбался Михайлов. — Необыкиовеииые похождеиия иигилистов в Петербурге, или...

— ...Или иовые приключеиия гулливеров среди лилипутов! — подхватывал Поэт. — Алексаидр, кстати, ты обратил виимаиие, в каком-то доносе упоминается, что студент Исаев из Технологического института крамольио разговаривал в присутствии шпика. Я зиаю этого студеита и думаю, что шпик прав — Исаев действительио очень способиый малый и очеиь опасиый для правительства человек. Поэтому к иему стоит, пожалуй, присмотреться.

Сведения Клеточникова Михайлов считал бесценными для организации. Бутылкой шампаиского отпраздиовал он, всегдашний трезвенник, большое событие в их работе: Клеточиикову поручили составлять списки секретной агеитуры для получеиия деиег.

— А ведь в тебе, Николай Васильевич, — сказал ои, подиимая бокал, — писатель пропадает. Ты всю эту свору так описал в клееичатой тетради и сиаружи и изиутри, что оии прямо как живые стоят у меия перед глазами. Ну, за успех!

Оба выпили.

— Может, когда-иибудь и напишу о иих обо всех по-настоящему, — вырвалось у Клеточиикова. Но ои тут же усмехнулся и сыроиизировал: — Все тем же жемчужиым почерком буду писать ромаиы о тайной полиции.

— Коиечио! После победы революции! — с удовольствием поднял Михайлов вторую рюмку.

Драгоцеииого своего друга вожак подполья берег, как святая святых. Ему запретили встречаться с кем-либо, кроме Наташи и Двориика, запретили заходить куда-либо, кроме Наташиной квартиры. О его суще-

ствовании не знали, за исключением четырех-пяти человек, даже в Центре партии, а подлинную фамилию Агента знали первое время только Дворник да Поэт. Когда к Михайлову приставали товарищи: «Из каких источников у тебя, Дворник, такая поразительная осведомленность?» — он лишь болезненно морщился и жаловался:

— И так буквально каждый знает у нас обо всех делах, хотя заранее договаривались, что знать будут не больше, чем должны знать. Неужели нельзя хоть эту единственную настоящую тайну иметь в секретной организации?

Сконфуженные товарищи умолкали.

Сам Клеточников, в свою очередь, почти ничего не знал о тайнах подпольного мира.

— Так мне будет спокойнее, — остановил он Михайлова, когда тот однажды из деликатности хотел ему кое-что открыть.

— Что надо — я узнаю из служебной переписки. А больше — не надо.

И вот однажды этот до предела засекреченный подпольщик прибежал ночью прямо в номер к Михайлову; прибежал в гостиницу, где на него не могли не обратить внимания портье, ночная прислуга, дворник или люди, специально связанные с полицией. Когда раздался сильный стук в дверь, Александр первым делом выхватил из-под подушки револьвер и быстро переместился к окну — настолько он был убежден, что в такой час явиться могут только жандармы. Но Клеточников!..

— Войдите, открыто!

— Взяли Клеменца, взяли Обнорского! — не здороваясь, выпалил с порога разведчик.

— Знаю.

— Вы виноваты, вы! — проскрежетал Николай Васильевич со злым упреком.

— Что, опять он?

Клеточников утвердительно прикрыл глаза и, не в силах выговорить ни слова, вдруг начал нервно бегать по комнате. Наконец заговорил, задыхаясь:

— Сегодня вечером было особое собрание сотруд-



ников отделения. Кирилов устроил великую распеканцию. Дескать, позор, до чего дожили! Москвичи обскакали! Он, оказывается, пять лет за Клеменцем охотился. Следующий удар уже намечено нанести по Центру партии. Виноваты будете вы, только вы, вы одни, я вас предупреждал о нем тысячу раз...

— Успокойтесь, — ровно и мягко остановил его Александр. — Расскажите подробно об этом собрании. При чем тут москвичи, я не понял?

— Да ведь Московское жандармское управление — это вечный соперник нашей канцелярии! Такая грызня с ним идет... А тут они нас обскакали. Он ведь на них работал...

Вслушиваясь в нервный, сбивчивый доклад Клеточникова, Михайлов вспоминал, сопоставлял, связывал разобщенные, случайные факты. И все больше перед его мысленным взором прояснялась история страшной провокации, которую два месяца назад начал раскрывать Клеточников, едва прикоснувшись к делам Третьего отделения.

— Степан Халтурин... Виктор Обнорский... Кто бы мог подумать... «Северный союз» — этот образец конспиративной организации... Кто бы мог подумать, даже предположить...

Михайлов снова и снова перебирал в памяти события недавнего прошлого.

«СВЯЗНОЙ ОБНОРСКОГО»

Когда это началось? Когда он впервые услышал про Халтурина, Обнорского, про их друзей?

Пожалуй, года три назад, во время стачки на Невской окраине, которую направляла рабочая секция «Земли и воли».

Плеханов тогда познакомил его, «финансиста» забастовочного фонда, с вожаком рабочих. Высокий столяр с удивительно добрыми глазами, с обходитель-

ными манерами вежливого и деликатного человека, Степан Халтурин сразу понравился Катону-цензору, как звали тогда Дворника. В Халтурине Михайлов чувствовал родственную ему силу прирожденного организатора. Именно Степан впервые рассказал Михайлову, что в рабочей среде ходят слухи об Обнорском. Дескать, некогда, лет пять-шесть назад, действовал в Питере какой-то Виктор Обнорский, рабочий особого ума, знаний, воли. Всюду, где Обнорский появлялся, возникали рабочие кружки. Потом, как водится, кружки проваливались, жандармы забирали всех до самого корня, но Обнорский всегда ухитрялся исчезать, чтобы появиться в другом месте и снова приняться за организацию рабочего класса. Бежав от полиции из Петербурга, он организовал новые кружки в Одессе, слившиеся потом в «Южно-русский союз рабочих», оттуда внезапно исчез за границу, где, по слухам, собирался изучать опыт борьбы европейского пролетариата.

Годами ждали рабочие приезда Обнорского из Европы: «Приедет Виктор — будет дело!» Но Степан Халтурин считал эти разговоры об Обнорском прямо-таки вредными для рабочего движения.

— Понимаете, его ждут, как второго Христа! — горячился Халтурин. — Вот грядет из Европы и принесет успех и удачу рабочему делу. Послушайте, а может, этого Обнорского и вовсе не было? Может, Обнорский — сказка, придуманная рабочим людом себе в утешение?

Во всяком случае, сам Халтурин вовсе не собирался ждать никаких мифических «Обнорских»: он немедленно принялся в столице собирать и сплачивать первую массовую организацию петербургских рабочих. Созданный им в короткое время «Северный союз руских рабочих» был задуман Степаном как зародыш рабочей партии.

Вторично об Обнорском Катон-цензор услышал через год. И тоже от Степана, когда тот привел на свидание своего ближайшего соратника по союзу. Это был коренастый темноволосый крепыш, весь будто сплетенный из тугих мускулов. На его умном и воле-

вом лице, к которому очень шла остренькая, аккуратно подстриженная бородка, поблескивали черные глаза.

— Иван Козлов, связной Обнорского, — представил товарища Степан. Представил так просто, будто это не он всего лишь год назад отказывал Обнорскому даже в праве на существование...

Рабочие вожаки — так помнится Александру — пришли договориться о печатании в народнической типографии первой прокламации «Северного союза русских рабочих»: своей типографии у них еще не было. В распоряжении «Земли и воли» находились силы лучших публицистов того времени — Глеба Успенского и Николая Михайловского; были у нее и свои собственные, замечательные литераторы — Плеханов, Морозов, Клеменц, Тихомиров, Кравчинский — редакторы центрального печатного органа народников. Но даже на этом блистательном, звездном фоне народнической публицистики прокламация, составленная простыми рабочими для простых рабочих, поражала силой своей искренности и напряженной работой мысли. Будто целый класс, просыпаясь, всматривался в незнакомую, в путаную и сложную жизнь и исследовал опыт истории, чтобы рывком поднять на свои плечи ответственность за судьбы России. Александр Михайлов, человек внешне сдержанный и ироничный, пришел прямо-таки в восторг, прочитав первые политические сочинения русских пролетариев.

— Глубоко копаете, рабочие люди, — не выдержал он.

И тогда же, не смущаясь, напрямик спросил Халтурина:

— Кто это у вас так здорово писать научился? Прямо не верится, что это первая листовка!

— Да все сочиняли помаленьку! — Степан наслаждался явным восхищением «интеллигента». — А больше всего Иван приносил указаний от Обнорского. Обнорский, брат, это...

Степан даже руками развел восхищенно.

— Обнорский приехал? Значит, не миф? — Услы-

хав эти слова Михайлова, Козлов чуть заметно усмехнулся. — Ты его видел? Ну, какой он?

— Что вы! — удивился Халтурин. — Обнорского никто, кроме Ивана, у нас не видал. Это же такой конспиратор! Почище всех интеллигентов будет... Шесть лет полиция за ним по следу идет, а даже хвоста зацепить не смогла.

И такая невыразимая гордость за своего, за рабочего человека вдруг прозвучала в голосе Степана, что неожиданно Михайлов смутился. Ему показалось, что рабочие как-то отделяют себя от остального революционного движения, от общего потока борьбы. К чести его, обвинил он в этом только себя и своих товарищей. «Значит, мало мы душу свою им сумели раскрыть, или еще в душе у нас, как оспинки, сидят следы барства, раз не стали мы своими, не стали братьями по делу для этих отличных товарищей, раз делят они общее дело на наше и свое...»

Много сил впоследствии приложили землевольцы, чтобы завоевать доверие рабочих. И наконец, оттаял ледок, отсеялись непримиримые сектанты с той и другой стороны, и в работе обеих революционных организаций возникли дружба и помощь.

Но эта дружба и помощь так и не сумели спасти организацию рабочих от страшного предательства. И должно быть, размышлял Михайлов, виноват в этом он сам, Дворник. Именно он — из сугубо конспиративных соображений — предложил Клеточникову заниматься только делами «Земли и воли», не зарываться в чужой материал, в посторонние и рискованные сюжеты. И вот результат излишней, как оказалось, осторожности: центр всего, а не только рабочего подполья находится под угрозой провала! Если бы Клеточников недавно не проявил самостоятельности, не переступил на свой страх и риск приказа Дворника о невмешательстве в посторонние дела — с подпольем было бы уже покончено! Сейчас покончено!

Какая мрачная история... После первого сигнала Клеточников и Михайлов не смогли сразу поверить в такое гнусное предательство. Они долго сомнева-

лись, оттягивали, перепроверяли все еще и еще раз. И все оказалось верным. Провокатор проник в самый центр русского революционного подполья.

«МЫ НЕ ВЕРИМ!»

Михайлов отчетливо вспомнил, как он вызвал тогда Халтурина на свидание.

Степан обещал быть в пивной Волынского на Сампсоньевском проспекте в шесть вечера. Александр пришел туда заранее — надо было приглядеться к обстановке и в случае нужды почистить хвост, то есть избавиться от приставшего на улице филера.

Казалось, пивную взламывало от алкогольных паров, от безобразной ругани, от назойливых признаний в любви к собутыльнику и проклятий заводскому начальству. Но вдруг — вдруг родилась здесь песня.

Это была странная песня — полуразбойничья, полукрамольная. Молодой сильный голос, полный беспечной и в то же время грустной удали, выводил грозно:

У нас иожичкн лнтые,
Гирн кованые,
Мы — ребята холостые,
Практнкованные.

Пусть нас жарят и калят,
Размазурнков-ребят,
Мы начальству не уважнм,
Лучше сядем в каземат.

Песня разливалась, как бы поднятая страстным вниманием слушателей, и вот уже люди не выдержали, и вот уже хор, четко выбивая ритм, вступил, грянул:

Ох ты, книжка-складенец,
В каторгу дорожка,
Пострадает молодец
За тебя иемножко...



В этот момент появился Степан. Песня оборвалась, навстречу ему полетели радостные возгласы — здесь все знали вожака рабочих.

— Надо уходить! — шепнул Степану Дворник. — Меня заметил шпик.

— Где шпик?! — вдруг заревел в полный голос Степан, обводя посетителей строгим взглядом. — Которая сволочь? Этот? — он ткнул тонким сильным пальцем в субъекта с липкими глазами, который исподтишка рассматривал белые, нерабочие руки Михайлова.

— Эй, ты! Ты меня знаешь, дрянь этакая?

Тот, бледный, слегка привстал.

— Тебе кто позволил прийти сюда, в нашу пивную? Ты что, не знаешь, что здесь народ душу друг другу открывает? Тебе жить надоело?

Мастеровые отрывали от столов свои буйные головы и машинально сжимали кулаки: кажись, они Степану нужны?

— Вон отсюда!

Шпик исчез в мгновение ока, как привидение. А удовлетворенный этой маленькой демонстрацией силы Степан пояснил:

— Тут наши владения, тут рабочая окраина. Не беспокойся, меня никакой шпик выдать не посмеет, он поищет добычу в другом месте. Еще ни одна полицейская гадина не захотела у нас стать покойником через сутки после доноса.

Эта внешне эффектная сцена неприятно удивила Михайлова. Удивила именно потому, что он давно знал Халтурина как замечательного, неуловимого конспиратора, который все правила революционной безопасности, выработанные коллективным опытом революционного подполья, сделал законом жизни «Северного союза русских рабочих». Недавно, например, Степан услыхал о «практикумах», устраивавшихся Михайловым, — об обычае Дворника выслеживать товарищей по дороге на конспиративные квартиры, а потом устраивать разнос тем, кто не заметил его слежки, — узнал и сразу же применил такую «тренировку» у себя в союзе. Более того, он

попытался выследить на улице... самого Дворника — правда, тот быстро отделался от Халтурина в каком-то проходном дворе и этим вызвал искреннее восхищение Степана.

Но вот теперь Степан, по мнению Михайлова, повел себя чересчур беспечно. Не упоен ли он первыми, действительно замечательными успехами рабочего дела? Такое случается иногда даже с самыми опытными конспираторами — на какой-то миг теряют бдительность, на какой-то час позволяют чувствовать себя в безопасности, в какой-то день начинают видеть во врагах, особенно в доносчиках, просто трусов, которым не стоит уделять много внимания. Михайлову тоже было знакомо это психологическое состояние, и он знал, как оно обманчиво и коварно. Агентами врага на самом деле не всегда движет трусость, иногда наоборот, — это дерзкие люди, которые любят поиграть с опасностью... Третье отделение действует пока что примитивно, это верно, но надзор его за подозрительными людьми профессионален, постоянен, не ослабевает ни на час. Достаточно один раз подпольщику забыться — он попадет в лапы жандармов...

— Что там у тебя стряслось? — весело спросил его Степан, еще не остывший от победоносной схватки со шпиком.

Ох, не хотелось Михайлову начинать важный разговор тут же, в пивной, после такой сцены! Но Степан так решительно отказался уходить — «за всех, кто здесь сидит, я ручаюсь, это наши, рабочие люди, ты что, моему слову не веришь?» — что Дворник почел за лучшее остаться.

— Тебе известно, — шепотом спросил он, — что Иван Козлов вовсе не связной Обнорского?

— А кто же?

— Сам Обнорский.

Степан ухмыльнулся.

— Открылся он мне. А ты-то откуда про это знаешь?

Пропустив вопрос мимо ушей, Михайлов продолжил:

— А кто еще может знать, что Обнорскнй н Козлов — одно лнцо?

— Ннкто. У Внктора это прнем старый: ннкогда ннкому не признается, что он н есть Обнорский. Всегда он только «связной Обнорского». Он ведь ннкакой не особенный, его десяток раз выдавали, как всякого нз нас. Но пока полицня следит, куда это «связной» к Обнорскому ходит, шпнка он заметнт, раз — н его нету! Большой, очень большой хнтрец. Как лнса! А ловок — как белка! Помнншь, мы думалн, что Обнорского вообще... того...

— Что Обнорского не существует? Помню. Но все-такн кто-то же должен в организацни знать, что Иван Козлов — это н есть Внктор Обнорский?

— Да нз ваших, пожалуй, ннкто. А нз нашнх я — раз, — Халтурнн загнул мнзннец, — Танюшка, конечно, — два, Николка — три... Все? Пожалуй, все. А в чем дело, собственно?

Только сейчас он встревожился от расспросов Мнхайлова.

— Почему Обнорскнй открылся этнм, как их... Танюшке да Николке?

— Что значнт — почему? Потому что онн самые близкне, лучшне из лучшнх н для него н для меня, — уднвнлся Степан. — Господи, уж на что я осторожен, а ты, Иван Петрович, даже меня своей бднтельностью пугаешь. Да Ннколку ты сам должен помнить: такой веселый рыжнй столяр прнходил к тебе со мною, неужели забыл? Удивительный он человек: рабочему делу предан, энергня кнпнт, в органнзацнн знает до подноготной все о каждом, н вашн товарищи нз группы Плеханова, так те нм просто очарованы. «Много друзей и нн одного врага» — вот что онн говорят о Нnколке. Недавно мы его послали в Москву.

— В Москву? А в Пнтере у вас, значнт, уже такой нзбыток крепких органнзаторов, что вы нх в друrне города посылаете? — как-то ненскренне удивился Мнхайлов.

— Да нет же, конечно. Был однн повод, было дело под Полтавой, — пошутил Степан и сразу же пожалел об этом: увндел, как напрягся Дворннк.

— Какое дело под Полтавой?

Вот теперь Степан разозлился. Но голоса Халтурин все равно не повысил: говорил он тихо, так что даже за соседним столиком не слышно было ни звука.

— Ты сыщиком сделался? Кого? Кому? Почему? Ты чего в наши рабочие дела лезешь? Тебе у себя отставку дали? Больше делать нечего?

Михайлов не обиделся на грубость — он знал вспыльчивость, но знал и отходчивость Халтурина. Дворник лишь придвинулся поближе к собеседнику и спросил его в упор:

— А от кого я знаю, как ты думаешь, что Иван — это Обнорский? А?

— Ну?

— Из полиции, Степан, из полиции... Свой человек передал.

Оба замолчали. Только Халтурин задышал с каким-то натужным свистящим клокотанием, хватал воздух судорожными глотками, будто ему сдавило горло.

— Сам понимаешь, что происходит, Степан. Видишь, я действительно должен стать сыщиком. Только сыщиком с нашей стороны. Так из-за какого же дела вы Николку Рейнштейна отправили в Москву? Изволь отвечать! — строго закончил Дворник.

— Да наоборот все! — Халтурин рванул от нетерпения кулаком по воздуху, но поспешно разжал его. — Дело это, как бы сказать, интимное, — зашептал он. — Попросту женщина замешалась! Но раз уж до подозрений дошло... Виктор Татьяну любит, Николкину жену. И она его полюбила. Скрывался он у них на квартире целый месяц, вот и вышла эта ненужная история. А Николка с Виктором, они уже самые лучшие друзья. Как им было узелок распутать?.. Ты по-человечески можешь понять, что такое жену друга, брата своего, вдруг полюбить?

Михайлову ли не понять этого? Как живая встала перед мысленным его взором арестованная полгода назад Ольга Натансон, наяву увидел он бесконечно любимые черты ее лица, короткие, зачесанные

назад волосы, блестящие черные глаза — глаза самого дорогого человека на свете. Понимает ли он, что такое полюбить жену друга? Еще как понимает...

— ...Пришел ко мне Николка и просит — сам просит! — услать его подальше из Питера, чтобы не мешать любимым людям. Может быть, тогда он и выдал Виктора? Как ты по-вашему, по-интеллигентскому думаешь? — вполголоса издевался Степан.

— Ну, если не Николка, то, может, это Татьяна выдала Виктора?

На сей раз Халтурин даже не счел нужным возмутиться.

— Ты соображаешь, что говоришь? — спокойно спросил он. — Она же теперь его жена. Да знал бы ее, никогда такое в голову не пришло бы. Выдать Виктора... Даже если б и не мужа... Она наивная, это правда, но честная, смелая, своя. Думаешь, такой человек, как Виктор, полюбил бы дрянь?

Михайлов не знал, что ему ответить. Степан так беззаветно любил своих товарищей рабочих, так верил им, гордился ими. Как открыть ему глаза? Как заставить честного и чистого человека поверить в такое, во что всегда отказываются верить разум и сердце. Измена подлеца, мещанина, пошляка — это понятно, но как поверить, что твой единомышленник, друг — подосланный провокатор?..

— И все-таки ты сам понимаешь, Степан: если настоящую фамилию Козлова, то есть Виктора Обнорского, могли сообщить полиции всего трое, значит, среди них есть предатель — вольный или невольный, но предатель!

Степан сидел с каменным лицом.

— Если бы я поверил тебе, — продолжал Михайлов, — то сказал бы, что предателем может, пожалуй, быть только один из трех — Степан Халтурин. А? Больше ведь, по твоим словам, вроде и некому... Но у меня есть сведения по этому делу...

Столяр подался чуть вперед, на побелевшем его лице остались, казалось, одни глаза. Он почувствовал — наступило то главное, из-за чего Михайлов вел весь разговор.

— ...Обнорского выдала — это точно — супружеская чета провокаторов. Судя по твоим же рассказам, это могут быть только муж и жена Рейнштейны.

Белое, как мел, лицо Халтурина стало страшным и вдруг посерело, будто Степан очутился на пороге смерти.

— От кого тебе известно?

— Вот этого не могу сказать. Такие вещи, помоему, нельзя сообщать даже самым близким друзьям, Степан.

— Тогда... тогда ты запомни, Иван Петрович, мы тебе Николку, нашего дорогого Николку, не отдадим ни за что. Ты лично, сам за каждый волосок с его головы будешь нам отвечать!

Александр не сдержался.

— Ваш союз целиком предан провокаторами! У жандармов есть все списки и адреса.

— А почему никого не берут? — Степан уже не помнил себя от душившей его обиды. — В нашего, в рабочего человека не хочешь верить! Пойди, ну пойди сам, ну скажи сам, попробуй Виктору Обнорскому, что его женил управляющий Третьим отделением!

Михайлов встал: продолжать разговор было бессмысленно. Что возразить Степану? Николай и Татьяна Рейнштейны казались ему выше подозрений. Может быть, открыть членам рабочего союза Клеточникова? Но его тайну берегли даже от своих — неужели доверить ее полузнакомым людям, среди которых наверняка действуют новые провокаторы?

Что делать? Спасти Обнорского, спасти «Северный союз» — и провалить Клеточникова? Михайлов никак не мог придумать верное, единственное решение.

После долгих раздумий, после ночных совещаний землевольцы согласились, что надо немного выждать. Первые же аресты заставят рабочих поверить в семена подозрений, которые посеял Михайлов. И тогда они начнут действовать быстро.

Но сегодня утром неожиданно выяснилось, что решение это, казавшееся единственно возможным,

было роковой ошибкой. Николка оказался гораздо опаснее, чем предполагалось...

Михайлов как раз обдумывал выход из ловушки, когда к нему в номер ворвался Клеточников с упреками и с дополнительными уликами против предателя.

Решение требовалось принимать мгновенно.

КИНЖАЛЫ МСТИТЕЛЕЙ

...Пока Михайлов, сидя в номере, припоминал и сопоставлял факты провокации, Клеточников методично продолжал излагать ему новые данные:

— Через Татьяну Кирилов выяснил весь состав петербургского «Союза русских рабочих». Через Николку полиции стали известны революционные силы в Москве. Но арестов пока что не производили: Кирилов сказал как-то, что он дал Николке указание сначала узнать актив и явки «Земли и воли», и только после этого предполагалось начать облаву на Центр подполья. Собственно, арест Обнорского оказался для Кирилова почти что вынужденным. Я вам уже докладывал, что Татьяна не справилась с ним, и Кирилов боялся, что упустит Обнорского и на этот раз...

Михайлов кивнул: да, он отлично помнит тот, самый первый доклад Клеточникова. Однажды, войдя в кабинет шефа политической экспедиции, помощник делопроизводителя застал там миловидную женщину, которая умоляла на коленях Кирилова «простить Витеньку». В каком-то истерическом припадке она клялась выдать всех, только бы ее Витеньку не трогали! Собственно, с той случайной встречи и началось его знакомство с делом Рейнштейнов. Хотя никакого «Витеньки» в составе «Земли и воли» не имелось, чутьем конспиратора почувствовал Клеточников в необычной сцене что-то важное. На свой страх и

риск принял он первые меры: решил действовать, не ожидая приказа.

В тот же вечер помощник делопроизводителя зашел в ресторан Доминика с агентом Афанасьевым — Палкиным. В отдельном кабинете, где выпивали приятели, произошел у них разговор по душам. Да, конечно, какой, милый друг, разговор... Баба понравилась? Ха! Палкин отлично эту особу знает: она жена одного агента, его старого... как бы сказать... собутыльника? Пусть будет собутыльника! Ха, милый, так ведь его тоже «мадам» шефу отыскала. Да, ее крестник! А жена его... Конечно, ее тоже приняли на службу. Он, Палкин, за ней, был грех, был, волочился в свое время... Но она мнила о себе точно фрейлина ее величества, а не такая же, как мы, грешные, сотрудница экспедиции. И вот — божье наказание ей за гордыню! Влюбилась... в объект. В какого-то слесаря. Да ты что, не слышал эту историю? Господи, ее же все знают...

— От кого знают?

— Ну, все, кончен разговор...

— В какого хоть слесаря?

— Милый, много ты от меня хочешь услышать, я ведь простой агент, такие вещи мне не докладывают. Знаю, что в отделении все животики себе давно надорвали. Из рук-то баба не уйдет, муженек приглядит, но забавно, ком-медия!

— ...Так вот, Обнорского и взяли раньше намеченного срока, — продолжал Клеточников свой доклад Михайлову. — Кирилов боялся довериться до конца Татьяне, боялся, что Обнорский и на этот раз сорвется у ней с крючка. Выследил его в поезде, когда Виктор с Татьяной возвращались от Николки из Москвы, приставил лучших филеров и взял на улице.

Итак, история с Обнорским была ясна теперь Дворнику во всех подробностях. Но ведь взяли, кроме того, еще и Клеменца — главного редактора подпольной газеты «Земля и воля», которого Николка

вовсе не знал. Почему? Как произошел этот арест? Кто навел полицию на этого опытнейшего конспиратора?

— Как они напали на след Клеменца? — строго спросил он Клеточникова.

Тот смущенно пожал плечами.

— Чего не знаю, того не знаю. Арест Клеменца с нашей агентурой не был связан. Это — точно — тоже дело рук Николки, но Николка, как я уже говорил, перепродался Московскому управлению, а от них к нам сведения почти не поступали. Думаю, что в Петербурге Клеменца выследили не местные, а московские шпики, поэтому-то наш шеф и пришел в такую ярость: он ненавидит конкурентов.

— За сколько же Николка перепродался жандармам в Москве? — неожиданно заинтересовался Михайлов.

— Кирилов говорил сегодня на совещании, что за тысячу рублей Рейнштейн обещал им найти типографию и редакцию «Земли и воли».

— Недоплачивают бедняге, жулики, — Михайлов, казалось, шутил, но улыбка, показавшаяся на его губах, была недоброй, страшной. — Теперь я вам, в свою очередь, кое-что расскажу, Николай Васильевич. Сопоставим наши сведения и, может быть, сообразим, как обстояло дело с Клеменцем. Итак, недавно этот пройдоха Рейнштейн приезжал на побывку сюда, да-да, приезжал в Питер. И пожелал он явиться к нашему Поэту. А дальше было так...

В историю с Рейнштейном Поэт — Николай Морозов, редактор центрального органа партии «Земля и воля», не был посвящен. Посему, получив с месяц назад предложение встретиться от незнакомого москвича-рабочего, он ничего худого не заподозрил. Но все-таки Поэт принял некоторые меры предосторожности: ему показалось странным, что этот человек так хочет повидаться обязательно с редактором. У него как будто не такие уж важные связи и материалы, чтобы требовать к себе именно редактора.

Пришлось сказать студенту Грише Исаеву, знакомому Рейнштейна, через которого тот повел пере-

говоры с редакцией, чтобы он поставил маленький спектакль с переодеванием. В виде таинственного и молчаливого редактора «Земли и воли» перед Рейнштейном предстал некто Луцкий, человек от организации далекий, но согласившийся оказать ей маленькую услугу — сыграть роль редактора. Это вовсе не было особо хитрым маневром — просто Поэт привык остерегаться любопытства чужих и назойливых людей.

Но вот вчера в три часа ночи история с Луцким получила неожиданное продолжение. На квартире у присяжного поверенного, где скрывался Морозов, раздался звонок. Поэт вывесил за окно на тонком шнурке портфель с редакционным архивом и оружием, приготовил надежные документы на имя помощника присяжного поверенного и пошел открывать двери. Оказалось, однако, что явился свой. Срывающимся голосом он сообщил о необычном происшествии. Недавно рядом с Луцким поселился жандармский офицер. Сегодня вечером этот офицер вернулся поздно, подвыпивший, зашел к Луцкому на огонек и по секрету рассказал, что только что участвовал в аресте тайной типографии «Земли и воли». Там оставлена засада, и к утру в ловушку ждут редакторов.

Луцкий не знал, как предупредить редакторов об опасности, побежал ночью к знакомому подпольщику, а тот уже разослал связных ко всем редакторам.

— Жандармский офицер не наш человек, — заметил Клеточников в этом месте рассказа. — Скорее всего провокатор из Москвы, работал по наводке Рейнштейна.

Типография, конечно, была все это время цела и невредима, но прошлой ночью Поэт не мог этого знать. Насторожила его, однако, фамилия Луцкого: ведь именно с ним была связана странная история с каким-то московским рабочим. И хотя естественным желанием Морозова было сразу выбежать и попытаться встретиться с главным редактором — Дмитрием Клеменцем, встретиться, чтобы проверить судьбу типографии, у него хватило благоразумия подождать до утра. Утром он собрал свои вещи в портфель и,

затерявшись в толпе чиновников, торопившихся в свои канцелярии, скрылся на улицах столицы. Через час после его ухода в меблированных комнатах, что находились над квартирой присяжного поверенного, произвели повальный обыск: искали исчезнувшего редактора.

Луцкий и все связные, посланные к редакторам, были арестованы. Их легко могли выследить ночью на безлюдных улицах города. Николка, видимо, предполагал, что редакторы соберутся вместе, придут к типографии, и там их можно будет сгрести одним махом — вместе с типографскими работниками. Тысяча рублей почти лежала у него в кармане, поэтому жандармам особо указывалось: не надо лезть к редакторам в комнаты, не надо арестовывать их поодиночке. Взять одним ударом! Но осторожность Поэта и его друзей сорвала замысел предателя. Типография и редакторы остались целы — все, кроме главного редактора Клеменца.

— Почему Клеменца взяли на его квартире, совершенно непонятно, — завершил рассказ Михайлов.

— Эту подробность я как раз знаю, — вмешался Клеточников. — Это уже наше, родное, бюрократическое... — Николай Васильевич яростно взмахнул рукой. — Как всегда, кто-то что-то не понял, кто-то что-то перепутал, и вот вместо того, чтобы выследить, взял и явился, как слон, с обыском к Клеменцу. Ничего не нашли, а к кому связной явился — точно не проследили, уже уходить собирались, уже офицер шинель в передней натягивал, когда одному старательному псковичу вздумалось ткнуть ножом в диван. Скорей всего побаловал парень. А из обшивки посыпались номера «Земли и воли». Опознали Клеменца в участке быстро — пять лет его ищут.

— Да, даровитый человек Николка, — как-то странно усмехнувшись, протянул Михайлов. — Не будь вас, Николай Васильевич, пожалуй, со временем и на место Кирилова бы вылез. А что? Тот ведь тоже с простых шпионов начал. Ладно, кончим этот затянувшийся разговор. Мне по некоторым причинам покидать этот номер ночью нельзя. Раз уж вы



все равно нарушили конспирацию — не в службу, а в дружбу — зайдите вот по этому адресочку...

Через полчаса Клеточников позвонил у мрачного подъезда на Загородном проспекте. Ему долго никто не отвечал.

— Кто? — наконец раздался мужской голос.

— Родионыча можно?

— Я.

— Дворник просит вас к себе срочно в «Москву».

Дверь распахнулась. Перед Клеточниковым стоял гигант с железными мускулами, выпиравшими буграми из-под одежды. В его острых серых глазах даже сейчас виднелись такие неукротимые огни, что Клеточников содрогнулся.

— Что там стряслось у Дворника? — проворчал Родионыч, натягивая пальто.

Клеточников не удержался от озорного намека:

— Говорят, срочные платежи. Задолжали тысячу рублей.

Должно быть, Родионыч недолюбливал шуток, холодно процедил: «Уплачу с процентами», — распрощался и ушел во тьму.

...А через несколько дней в одну из московских гостиниц вошел необычайно приятный на вид рабочий. Весело насвистывая песенку, спросил он коридорного слугу, где остановились тут приезжие господа из Питера. Сразу было видно, у него чудеснейшее настроение, идет он в гости к людям, которые привезли добрые вести. С радостным видом переступил он порог указанного номера...

Скоро оттуда вышел один из питерцев, которого про себя коридорный слуга называл «старшой». И вообще-то этот «старшой» благодаря генеральской осанке вызывал у прислуги большое уважение, а сейчас он показался страшен. Глаза горели, волосы развевались, кулаки сжались. «Как сатана! — рассказывал коридорный впоследствии. — Должно быть, выпил в номере».

И действительно, у самого выхода из гостиницы «старшой» вдруг зашатался, задрожал мелкой дрожью — наверное, упал бы, если б не подхватили

под руки товарищи, вышедшие следом из номера. Вроде оправдываясь, «старшой» сказал одному из друзей: «А ведь только что я был совсем спокоен. Что значит — в первый раз!» «Я еще подумал, — объяснял через несколько дней слуга следователю, прибывшему в гостиницу, — в какой же первый раз, что он, не выпивал раньше, что ли? И еще удивился — куда они гостя веселого дели, номер-то за собой закрыли. Решил, что, верно, тот в стельку напился и покамест спит».

Только через трое суток обеспокоенный хозяин гостиницы велел взломать двери запертого номера. На полу нашли труп того самого, приятного на вид рабочего, со следами страшной раны в сердце от удара кинжалом. К груди покойника приколота была записка:

«Николай Рейнштейн, иуда-предатель. Осужден и казнен по приговору российской социально-революционной партии».

Тайная полиция империи лишилась одного из своих лучших секретных сотрудников.

УЖИН В РЕСТОРАНЕ ДЮССО

Швейцар поклонился новым посетителям и распахнул перед ними дверь ресторана.

Гости одеты были в модное партикулярное платье и держались уверенно, но наметанным глазом старик швейцар сразу определил, что баре они не настоящие, а так... верно, чиновнички среднего ранга. Первым шел худой очкастый брюнет с бородкой. Его спутник, высокий плотный господин лет тридцати, гладко выбритый и сиявший ярким румянцем пухлых щек, хоть и выглядел попредставительней брюнета, но по тому, как он уступил приятелю дорогу в дверях, как ожидал очереди, пока тот сдавал пальто в гар-

дероб, да и по многим другим, неуловимым для незнающего человека признакам швейцар догадался, что брюнет — начальник, а второй — чином пониже. Скажи пожалуйста, обоим-то грош цена в базарный день, а они к Дюссо идут по вечерам, тьфу, прости господи, как настоящие господа...

— Проходите первым, Петр Иванович!

— Только после вас, Николай Васильевич, — румяный любезно приложил руку к сердцу.

Им навстречу уже спешил метрдотель.

— Что господам угодно? — И вдруг он застыл на месте, переменился в лице, будто невесть кого в ресторане увидел.

— Отдельный кабинет, — заказал брюнет. Румяный молчал.

— Пожалуйте-с, сюда-с, направо, — мегрдотель почтительно поклонился, указывая господам дорогу.

Они прошли в зал, повернули направо...

Усаживаясь на свой старенький стульчик между двойными дверями, швейцар по стариковской привычке ворчал:

— Перед какой нонче шушерой метрдотель ресторана Дюссо сгибаться должен, как перед генералами, в глаза им заглядывать. Ох ты, мать честная! Как жить, коли не знаешь, кому ноне угождать, кому от ворот поворот показывать?.. Трудные времена!.. Ох, трудные...

— ...Водки графинчик, «смирновской» или «вдовьи слезы», — быстро приказывал в это время румяный господин лакею. — Обед a la russ: икру, маринованную лососину, солянку, пироги с яйцом. Все принесешь сразу в кабинет и потом туда ни ногой!

— Не извольте беспокоиться, — вмешался метрдотель. — Все будет сделано, как господам угодно.

В отдельном кабинете румяный откупорил бутылку редерера и наполнил вином два бокала.

— Наконец-то отмечаем приятное знакомство, Николай Васильевич! — Он поднял свой бокал и со звоном чокнулся.

Николай Васильевич посмотрел вино на свет, понюхал, потом выпил, просмаковав изумрудную жид-

кость, и с явным удовольствием вновь наполнил рюмку.

— Признаюсь, удивлен, что вас здесь знают, — прервал недолгое молчание румяный. — У Дюссо очень дорого, я, к примеру, обычно хожу к Демидову, а у Дюссо в первый раз сегодня, да и то по случаю неожиданных наградных и такой приятной компании...

Клеточников усмехнулся.

— У меня жалованье, пожалуй, не больше вашего, Петр Иванович, так что у Дюссо я обедаю тоже в первый раз...

— Мне, значит, показалось, что метр вас знает?

— Нет.

— А...

— По службе, — слегка кивнул Клеточников. И снова оба замолчали. Румяный подложил соседу икры, потом налил ему вина, потом придвинул лососину.

— Ваши приятели мне говорили, Николай Васильевич, что в Третьем отделении нет другого знатока вин, подобного вам, — опять попытался он завязать разговор с молчаливым своим коллегой.

— Раньше я служил в Крыму, а там знают в винах толк, — коротко пояснил Клеточников. Потом вздохнул, поглядел на собеседника своими кроткими, грустными глазами и неожиданно спросил его:

— Вам что-нибудь надобно от меня, Петр Иванович? Ежели да, то не стоит крутиться вокруг да около, скажите, и, думаю, все будет улажено ко взаимному удовольствию.

Услыхав такой прямой вопрос, румяный, однако, не повел и бровью. Лишь почтительно осведомился, какие основания имеет уважаемый Николай Васильевич, чтобы не поверить в его приятельские бескорыстные намерения встретиться за обеденным столом, поговорить просто так, по-дружески.

— Какие основания? Всего одно, но значительное: вы пригласили меня к Дюссо. Человек вы небогатый и без особой нужды вряд ли... — Клеточников не закончил фразу: мол, и так все понятно.

— Давайте нальем еще лафиту, — все-таки слегка смутился румяный. — И попробуйте, ради бога, эту стерлядь с хреном, она ничуть не хуже, чем «шекснинска стерлядь золотая», что воспета великолепным Державиным. Честно говоря, я предпочел бы вначале отдать должное этой удивительной кухне и отложить пока наш необязательный и отнюдь не неотложный разговор...

Клеточников протестующе поднял ладонь.

— Предпочитаю сначала поговорить.

— Экой вы строгий господин, Николай Васильевич. Поговорить-то хочется не обычно, не по-служебному, а по-человечески... Так нальем лафиту?

— Я, Петр Иванович, человек по натуре прямой. На нашей службе это необычно, но — люблю открытые души и разговоры. И по возможности люблю разговоры в трезвом состоянии...

Петр Иванович усмехнулся, оглядел строй бутылок и графинчиков на столе, задумался.

— Хорошо, — наконец решился он, — сыграем по-вашему — с открытыми картами. Может, оно действительно будет лучше. Скажите откровенно, Николай Васильевич, начальство наше мне совсем не доверяет?

— С чего вы взяли?

— Куда бы я ни шел, за мной обязательно плетутся филеры.

— У вас, верно, расстроенное воображение, дорогой мой...

— Не лицедействуйте, Николай Васильевич, покорнейше вас прошу, со мной это бесполезно. Слава богу, достаточно опытен, чтобы отличить филеров от случайных прохожих.

— Да нет же, мне, право, непонятно, о чем вы говорите.

— А мне понятно, что человеку вроде меня, завербованному из нигилистической среды, на первых порах могут не доверять. Но понимает ли начальство, в свою очередь, что секретный сотрудник, на хвосте которого все время висят филеры, ни с кем встречаться не может и не может получить нужных связей?

Уверяю вас, террористы замечают этих филеров не хуже моего.

— Уж коли вы такой опытный господин, попробуйте «очистить хвост» — так, кажется, говорят? Вот и все, что могу вам посоветовать...

— Не выйдет! — не принял полушутливого тона румяный. — Григорий Григорьевич мои документы отметил во всех городах и участках, и стоит где-нибудь прописаться, как местная полиция тотчас посылает за мной своих болванов. А нигилисты рассыпаются от меня во все стороны.

Он зло сопнул.

— ...Ежели так будет продолжаться, в пору хоть бросать службу.

— Оставьте, Петр Иванович. Проверка в нашем деле неизбежна, — стал уговаривать его Клеточников, — и обижаться на нее неразумно. Чтобы вы поняли всю серьезность обстановки, скажу вам, что недавно в канцелярию поступило донесение... — тут Клеточников вдруг оборвал свою речь и внимательно оглядел собеседника.

— Ну?

— Давайте еще нальем.

Осушили рюмки.

— Так что было в том донесении? — не отставал румяный.

— Эх... Как говорится, замахнулся, так бей! Ладно, вам это можно знать, вы человек свой, но помните — никому ни слова, это большой секрет... Так вот, донесение на имя его величества, скорей всего из ведомства иностранной разведки, якобы в Третьем отделении, — он понизил голос, — служит агент социалистов. Вы понимаете?!

Петр Иванович хитро сожмурил глаза.

— А что вы думаете?! Вполне возможно, Николай Васильич. Я нынче приблизился к Центру и скажу вам, что по первому впечатлению там работают люди сильные, умные и опытные. Могут, вполне могут заслать к нам своего человека. Эх, коллега, — вдруг вздохнул он, — кому все-таки нам с вами служить приходится, кого слушаться!

Ну представьте себе, как будет справляться с этими умными социалистами наш Кирилов, неотесанный бюрократ, неспособный как следует поставить даже службу наружного наблюдения... Да что говорить!

Он задумался.

— Сам удивляюсь, почему я так разоткровенничался с вами. Верно, мы, Николай Васильевич, все-таки одной породы. Вы ведь сыщик прирожденный, я чувствую. Признайтесь, в детстве мечтали о таинственном ордене голубых мундиров, о его невидимой власти, о связях. Мечтали?

Клеточников пожал плечами: ну и что, мол, из того, что мечтал?..

— И дождались наконец: вступили, слава тебе господи, в эти запретные стены с трепетом прозелита. Что же дальше?

Он быстро глянул на Клеточникова. Тот мелкими глоточками отхлебывал вино.

— За этими стенами вы увидели обыкновеннейшее российское учреждение. Ленивое, бестолковое, архаичное, бюрократическое. На службе у них главное — аккуратная и благополучная бумаженция, отчетик, докладик, а истинное состояние сыскных дел никого не интересует.

— Бросьте, — лениво возразил Клеточников, — Третье отделение — верный оплот...

— Вы не хуже меня знаете — нет теперь верных оплотов!

— Любопытно, — не глядя на собутыльника, секретарь шефа политической агентуры потянулся к бутылке, — весьма любопытно... В первый раз слышу такие рассуждения! Как вы все-таки не боитесь излагать подобные мысли мне, человеку, как-никак близкому к начальству? Это что, проверка для Григория Григорьевича?

— Никак нет, — неожиданно засмеялся Петр Иванович. — Вам бы все слушать насчет бога, царя и отечества да святых идеалов добра и красоты — оно и жить спокойней? У нас, у интеллигентных русских, конечно, не у нигилистов, вообще, кстати сказать, не принято говорить о себе правду. Человек

жаждет денег и власти — вот политическая программа весьма и весьма многих, но ведь никто не хочет в этом признаваться. Потому что нежизненное у нас в России воспитание морали — литература все дело портит! Сорвите же с людей наряды из литературных словес, и вы увидите настоящих новых людей — рвущихся наверх, жаждущих настоящих земных благ, а не мнимой духовной благодати! Словом, загляните к себе в душу, и вы поймете, что я прав. Разве вы сами не таковы, как я описал?

— Я? По-моему, нет...

— Ха-ха. Не скромничайте, дорогой. Помните, в «Войне и мире», коли не ошибаюсь, говорится про две субординации — явную и скрытую. Мол, по скрытой субординации капитан бывает позначительней генерала. Так вот вы и есть тот самый капитан!

— Не надо мне льстить...

— Никогда! Однако похвалю Кирилова... Молодец, «перо» себе выбрать умеет. Эти старые бюрократы знают, на кого опереться... Так, Николай Васильевич, возвратимся к началу нашего разговора — уберете вы от меня хвост? Вы это можете. Иначе я просто не могу работать.

— Что в моих силах — сделаю.

— У меня в подполье большие связи и большие возможности. Мне доверяют. Меня даже тот их шпион не раскроет, о коем вы рассказывали. Ведь я в документах прохожу только под псевдонимом?

— Да. Вашей фамилии не знает никто. «Юрист» да «Юрист»... Кстати, вы на самом деле действительно Петр Иванович?

— На самом деле? Как вам сказать... До чего все-таки упрямый человек этот ваш Кирилов! Казалось бы, яснее ясного, что подлинное имя агента должен знать только чиновник, имеющий с ним связь, а в документах может упоминаться лишь псевдоним. И никто тебя не раскроет! Так для себя я этого добился с большим трудом, а общий порядок, видимо, остался старый... Ну ничего, мы с вами все это переделаем! Не правда ли?

— Мы с вами?!

— Конечно. В драке с террористами, будьте спокойны, начальство наше полетит рано или поздно. Это так же ясно, как то, что Кирилов проиграет мне партию в шахматы. И тогда призовут нас. А кого же еще им звать? Нас, новое поколение сыска. Так называемую молодежь, — усмехнулся он. — Главное, чтоб между нами был союз, чтоб держались вместе, стайкой. Сегодня вы похвалите меня начальству, завтра я вскользь скажу ему, что своими успехами обязан всецело вам, послезавтра Сидоров из первого отделения — он мой приятель — впишет вас в очередной список награжденных, а через неделю ваш приятель окажет услугу Сидорову... Вместе! И мы прорвем заслоны наверх. Только бы начать!..

Клеточников задумался.

— Согласны на союз, Николай Васильевич?

— Знаете, о чем я думаю? — тихо поглаживая бородку, отозвался Клеточников. — Как ни странно, я думаю о вашей роли в подполье. Вы ведь самый опасный для них человек из всех наших секретных сотрудников, я это только сейчас понял. Такое честолюбие при такой недюжинной энергии!

— О, да вы способны на комплименты! Вот не думал...

— Нет, вы не понимаете, почему я это говорю, — перебил Клеточников. — Вот мы с вами сидим у Дюссо, пьем больше часа, мы говорим откровенно — так откровенно в Петербурге мало кто смеет говорить, не правда ли? Мы заключаем союз... В то же время я о вас, о союзнике, ровно ничего до сих пор не знаю. Кто вы? Где «в миру» служите? Ваша судейская фуражка, которую вы сменили сегодня на шляпу, — это фикция или вы действительно по судейскому ведомству? Как вас зовут на самом деле? Почему вы попали в наши сотрудники и как проникли к конспираторам? Ни-че-го я не знаю. Это называется союзник и приятель...

— Приумножая знания, приумножаешь скорбь свою, говорится в одной умной книге, Николай Васильевич. Зачем вам все это знать? Чем меньше в нашем деле знаешь, тем легче жить на белом свете.

Моя судейская фуражка? Да, она настоящая. Ее носит сейчас некий субъект, который, по моим наблюдениям, имеет дело со свинцом, — многозначительно подчеркнул Петр Иванович последнее слово. — Если сможете, передайте это Григорию Григорьевичу. Постарайтесь оттенить перед ним мои старания. Вот вам и будет начало союза.

— Неужели типография? — насторожился Клеточников.

— Как будто... Дал бы бог... Все-таки тысяча рублей мне не помешала бы, отнюдь.

— Ну что ж, — решительно поднимаясь с места, произнес Николай Васильевич, — пожалуй, вы правы! Расспрашивать вас больше нет никакого смысла. Но теперь, коли обговорили все дела, пора по домам. Мне далеко, я в Гавани живу.

— Счет! — крикнул Петр Иванович. — Ради бога, Николай Васильевич, ничего не надо, сегодня плачу я.

...Когда они разошлись на углу Невского проспекта, Клеточников еще долго оглядывался, пытаясь близорукими своими глазами разглядеть в темноте, куда же направился новый его «союзник».

«Надо обязательно выяснить у Дворника, кто из работников типографии получил на днях судейскую фуражку, зачем, от кого... Проговорился он все-таки под конец. А я уж думал — пропал вечер».

И, довольный добытыми сведениями, Николай Васильевич быстро зашагал по торцовому тротуару.

ЧАСТЬ

ВТОРАЯ

АГЕНТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА





ШЕСТЬ ВЫСТРЕЛОВ НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ

Начало тысяча восемьсот семьдесят девятого года озиамеиовалось целой серией террористических актов.

9 февраля в Харькове иа подиожку кареты царского фаворита, геиерал-губериатора Дмитрия Кропоткииа, возвращавшегося из театра, вскочил неизвестиый и двумя выстрелами смертельио раиил князя. В специально выпущеиной листовке Исполиительиый Комитет объявил, что Кропоткии казиен как виновник страшиых издевательств, творимых иад заключеииыми в Харьковской тюрьме.

«Зиай же, русское общество, — говорилось в листовке, выпущеииой вскоре после этого покушения, — что, пока ты безгласно, тебе будет разрешеио прииимать участие в единственном дозволеиином тебе деле — в похороиах высокопоставленных особ».

26 февраля неизвестные лица закололи в Москве провокатора Рейнштейна.

10 марта на Пантелеймоновском мосту в Петербурге к карете шефа жандармов Дрентельна, сменившего убитого Мезенцева, подскакал молодой человек на великолепном рысаке и дважды выстрелил в генерал-адъютанта. Обе пули застряли в металлической перекладине рамы каретного окна, и это спасло Дрентельну жизнь. Шеф жандармов мчался за ускакавшим террористом, однако догнал только... рысака, которого держал под уздцы бравый городовой.

— Их благородие сказали мне — держи, а сами ушли в проходной двор оправиться, так что не извольте беспокоиться, ваше превосходительство, — доложил он взбешенному шефу жандармов. — Все в порядке.

...Третье отделение неистовствовало. В Петербурге начались массовые облавы и обыски, аресты и высылка молодежи. Но слепые удары не достигали цели. Политическая полиция убедилась в этом 2 апреля.

Во время утренней прогулки царя у Главного штаба неожиданно навстречу ему вышел высокий худой человек с узкими, раскосыми глазами, с угрюмым, бескровным, непроницаемым лицом. На нем была чиновничья фуражка с малиновым околышем. Царь сразу понял, едва взглянул на него, что это пришел мститель подполья, мститель за недавно казненных революционеров и, прежде чем тот успел прорвать цепочку телохранителей, его величество отпрянул в сторону. С ужасом Александр II увидел, как длинная сухая рука покушавшегося вытащила из кармана револьвер, как охрана замерла, парализованная ужасом. Смерть царя казалась неизбежной и неотвратимой.

В эту решительную минуту один только Александр II не растерялся. Пока его телохранители стояли, пригвожденные ужасом, пока террорист выцеливал мишень, царь рванулся к Певческому мосту; спотыкаясь, путаясь в длинной шинели, он не забывал описывать на бегу ломаную линию зигзагов (как



полагается по пехотному уставу при беглом огне противника). За ним гремели гулкие, резкие, четкие выстрелы — два, три, пять...

Свинец рассекал воздух, выбивал пучки искр из булыжника. Царь все мчался вдоль фасада Главного штаба, он несся вперед, сгибаясь, кланяясь почти до мостовой, тщательно выполняя устав и под огнем беспрерывно меняя направление. А сзади все ближе и ближе доносился равномерный топот гиганта, огромного, неумолимого, с круглой кокардой на ярком бархате.

Вот она — смерть, приближается с каждым шагом.

Но цокнула еще одна пуля, рикошетом обожгла царское ухо, и вдруг все стихло. У террориста кончились патроны.

Александр рискнул повернуть голову назад. Он увидел бегущих телохранителей, увидел поваленного наземь гиганта, который в свалке отбивался от врагов, отбросив бесполезный револьвер. И еще увидел царь, как возле Певческого моста внимательно следил за всем происходящим странный молодой человек — в купеческой шубе, с закрученными усиками и с пышной бородой. Когда все было кончено, этот мнимый купчик быстро отошел к домам и будто растаял в воздухе.

Посланные за ним вдогонку агенты никого не обнаружили.

Террориста, схваченного на площади, удалось сохранить до суда живым. Оказалось, что во рту он держал орех с ядом, разгрыз его после покушения, но яд не подействовал. По словам медиков, цианистый калий слишком долго хранился в кармане у этого человека и потерял свою смертельную силу.

Для рассмотрения дела Александра Соловьева (так звали покушавшегося на «священную особу») созван был Верховный уголовный суд. Переписать для суда следственные материалы в министерстве поручили чиновнику с самым красивым почерком, помощнику делопроизводителя Третьего отделения Николаю Клеточникову.

Эту ответственную работу Клеточников выполнил с обычным блеском и к празднику получил за нее наградные. Купив дорогую французскую брошку, чиновник отправился с подарком к «невесте», Наташе Оловенниковой.

За праздничным столом он пристально рассматривал своего «шурина», а потом как бы вскользь посоветовал Ивану Петровичу изменить фасон бороды и усов и заодно сменить свой любимый английский костюм на обычную тройку. А то полиция усиленно разыскивает наблюдателя, стоявшего в день покушения у Певческого моста, — не ровен час, обратят внимание.

— Иван Петрович, на следствии Соловьев утверждал, что он действовал один и никакая организация ему не помогала. Это правда? — мимоходом поинтересовался Клеточников.

— Правда. Никакая организация ему не помогала, — утвердительно наклонил голову Михайлов.

— Я к тому, — неловко объяснил Клеточников, — что ведь программа «Земли и воли» не одобряет террора против царя...

И он замолчал, смущенный поведением Ивана Петровича. Дворник явно не хотел продолжать этого разговора и открыть ему правду. Что ж, можно и подождать. Рано или поздно, но Александру Михайлову придется самому продолжить этот разговор.

Пока же...

— Давайте приступим к делу, Иван Петрович. Где там клеенчатая тетрадь? Диктую: номер восемьдесят девятый...

РАСКОЛ!

Разговор возобновился через две недели.

— Слушайте, как партия докатилась до такой клоунады? — кипятился Клеточников, размахивая перед самым носом Михайлова двумя газетами: ста-

рым органом народников — «Землей и волей» — и новым, только что вышедшим номером «Листка «Земли и воли». — Что за глупое положение! Кто в лес, кто по дрова! — он сердито бросил газеты на пол и всплеснул руками. — В старой газете нас всех зовут в деревню, обещают там готовый социализм в мужицкой душе. А в «Листке» кричат, что не надо никакой деревни и «да здравствует террор!» Кто из них прав, кто ошибается? Ведь и то и другое преподносится от имени одной партии... Вы можете связать эти две позиции воедино? Я, грешный человек, ничего не понимаю, ничего!

— И сам не очень понимаю, — со вздохом признался Михайлов. — После Соловьева все как-то кувырком пошло.

— Вот что, Иван Петрович, хватит играть в молчанку. Расскажите подробней, как вы оказались на площади рядом с Соловьевым. И что скрывается за этим, для меня — признаюсь — неожиданным, покушением на его величество?

Александр Михайлов невольно поежился. Рассказать ему все? Риск, очень большой риск — рассказать все! По точному смыслу параграфа закона «знание и недонесение о покушении на священную особу» каралось, как само покушение, смертной казнью. Если Клеточников когда-нибудь попадется и если он заговорит на допросах, то человек двадцать, знавших о покушении Соловьева заранее, будут обречены на повешенье. А уж он сам, Михайлов, в первую очередь. Вот, пожалуйста, и будь откровенным...

И все-таки Михайлов решил рассказать все. Разведчик может работать в потемках — в истории бывало такое. Но не Клеточников. Он все больше становится настоящим революционером, полноправным товарищем по организации, и преступно скрывать от него правду. Пусть затем решает сам!

Дворник начал с признания: Соловьев был членом «Земли и воли», он пропагандировал идеи социализма среди крестьян. Внезапно Соловьев приехал из Саратовской губернии в Петербург, никому ничего не объясняя. Товарищи ждали откровенного призна-

ния, и он вскоре открыл Дворнику и Поэту свой новый замысел — замысел цареубийства.

— Но зачем это понадобилось? — не выдержал Клеточников. — Убьют одного царя — будет другой, может, еще хуже. Какой смысл в цареубийстве? Чего можно этим достигнуть?

Михайлов в задумчивости потер ладонью свою шелковистую бородку.

— Соловьев знал народ: исходил пешком не одну губернию. Он говорил нам так: народ пока верит в непобедимость царской власти, ибо все, кто поднимался на борьбу с нею, всегда терпели поражение. Разин, Пугачев, декабристы — где они? Так что против царя не попрешь! Поэтому Соловьев считал, что надо разрушить мистический страх масс перед высшим саном в государстве. План его был таков: сразу после убийства царя «Земля и воля» в обстановке всеобщей суматохи и растерянности организует нападения своих боевых групп на полицейские участки в разных городах; захваченное оружие быстро передается организованным тут же дружинам из сочувствующих рабочих, и тогда начнется восстание в губерниях. В этих условиях, по его мнению, крестьяне поддержали бы движение, и могла бы начаться революция.

Оба собеседника замолчали, обдумывая невероятный по дерзости, несбыточный, невозможный план Александра Соловьева — теперь смертника Петропавловской крепости.

— Что было дальше?

— Дальше! — криво усмехнулся Михайлов. — Видимо, эта идея носится в воздухе. Приехали с юга еще два кандидата в цареубийцы. Пришлось нам разнимать троих конкурентов. Срочно собрался совет партии.

Как рассказал Дворник, на совете впервые за всю историю «Земли и воли» возник открытый раскол. Рабочая секция потребовала прекратить всякие покушения, кроме, разумеется, устранения провокаторов и особо злобных жандармов. Неизбежные после казни царя полицейские облавы могли сорвать всякую

работу в народе. «Если начнем стрелять — уже не кончим, а когда будем готовить массы к борьбе?» — справедливо замечали пропагандисты. Им возражали «дезорганизаторы» — так в партии звали террористов. Руководитель группы «дезорганизаторов» Квятковский заявил, что он лично, походив агитатором по России, отчаялся ждать революцию крестьян, что веры в близкое восстание больше ни в партии, ни в обществе нет. А раз так, почему бы в деле не попробовать план Соловьева? По-наполеоновски попробовать: «Сначала ввяжемся в сражение, а там посмотрим».

— Помните Родионыча, того, что убрал Рейнштейна? Человек решительный, а тут вдруг принял сторону пропагандистов, — продолжал Михайлов, — пригрозил, что сам выдаст цареубийцу полиции, если тот начнет действовать без приказа партии. Что тут сотворилось, боже мой! «Убьем тебя, как собаку!» — закричал ему Квятковский, с которым они вдвоем исколесили пол-империи. Хозяйка квартиры, бедная, металась, упрашивала их быть потише — у нее прислуга попалась ненадежная, дворник у прислуги в гостях пил чай на кухне... Куда там! Сцепились, как петухи! Я думал, перебьют друг друга. Вдруг — стук в дверь квартиры. Этот стук нас и выручил. Кто-то шепнул: «Полиция», — товарищи выхватили револьверы, кистени, стали плечом к плечу и снова — как одна семья. Споров как не бывало. Оказалось, ложная тревога, почтальон принес телеграмму хозяйке. Ну, тем временем горячие головы слегка охладились. И тогда совет принял такое решение: партия в деле Соловьева участия не примет, она по-прежнему отвергает террор, как метод, неспособный привести к победе. Но если среди ее членов найдутся желающие помочь ему на свой страх и риск, это им не возбраняется. Пусть помогают.

— М-да, — проворчал Клеточников, — решение гнилое. Ну и как, много нашлось желающих?

— Нашлись такие...

— И вы?

Михайлов все-таки помедлил с ответом.

— Конечно. Я достал яд, револьвер, выследил

маршрут и изображал царя на тренировке накануне покушения.

Говоря все это, Дворник пытался прочесть на невозмутимом лице Клеточникова, как он отнесется к сказанному. Испугается? Смутится? Но Клеточников умел безукоризненно владеть собой. Михайлов так и не понял, осуждает или одобряет его действия разведчик подполья. Николай Васильевич предпочел на этот раз отмолчаться.

Целую неделю обдумывал он разговор с Михайловым. Было ясно, что единомышленники Соловьева станут продолжать его дело. С кем ему, Клеточникову, теперь идти? Этот вопрос — с кем идти? — скоро встанет перед каждым революционером и заставит каждого четко определить свою позицию. До сих пор он, Клеточников, обходился общим сочувствием делу подпольщиков, не слишком утруждая себя раздумьями о теории, о стратегии, о тактике, но теперь... Так с кем же быть? С террористами или с теми, кто хотел бы по-старому продолжать работу в народе? Надо было выбирать свой путь, единственный.

Снова и снова перечитывал Клеточников служебные сводки и донесения, стекавшиеся к нему со всех концов страны. Перечитывал, сопоставлял, анализировал. Пожалуй, ни у одного революционера не было такой полной информации о положении в стране, как у этого незаметного чиновника Третьего отделения. И все яснее становилось, что в ближайшие годы революции не будет. Всеобщее недовольство внизу и шатание устоев наверху еще не достигли нужного для революции размаха. Значит, надо ждать, пока революция созреет в недрах общества... А может, вовсе не надо ждать? А может, надо, как Соловьев, рискнуть? Ударить по центру врага! Раскачать своим порывом тяжелый маятник истории! Выйти на смертельный, безнадежный поединок и стать искрой в пороховом погребе ненависти и горя! Дать задыхающемуся от трусости, косности, мещанства обывательскому Петербургу хоть на мгновение вдохнуть воздух свободы! Безумием своего подвига пробудить ото сна

усталых, равнодушных, ленивых, заразить своей верой тех, кто опустил руки, смирился, перестал бороться с угнетением. Кто рискнет сказать, что это бессмысленно, что это никому не нужно? Кто знает пути истории? Начать, а там будь что будет...

Есть люди, которые могут, если это необходимо, ждать революции десятилетиями. Это люди мысли, люди теории. Нет, они не просто ждут, они готовят ее — это он понимал. Но он, Клеточников, человек действия, и он просто не может столько ждать. Ему хотелось видеть результат своими глазами. И это толкало его к практикам — к террористам. Хорошо или плохо, но это было так...

— Вы поступили правильно в истории с Соловьевым, — сказал он Михайлову на очередной встрече.

Михайлов ушел в себя, далеко-далеко ушел в свои мысли. Потом, как бы вернувшись на землю, улыбнулся, решительно тряхнул головой и переспросил:

— Я вас понял правильно, Николай Васильевич? Вы за соловьевский путь борьбы?

— Да. Его дело надо довести до... — он помедлил, — завершения.

Оба понимали, что значит довести до завершения дело Соловьева.

— А вы помните, что политические убийства осуждаются нашей партийной программой?

— Да. Но это дело надо довести до конца.

— В таком случае, — Дворник нагнулся к самому его лицу, — в таком случае сообщаю вам, что летом состоится партийный съезд с задачей покончить с такими вот, как у вас, опасными мыслями...

Клеточников молчал, но упрямое выражение его лица понравилось Михайлову.

— ...Но я ...я лично вовсе не считаю эти мысли опасными. Наоборот! Однако нас, думающих так, как вы и я, мало в партии. Нас действительно могут исключить из «Земли и воли». Поэтому решено заранее собраться и договориться, как держать себя на съезде, — шептал своему разведчику Михайлов. Словно эту тайну он опасался доверить даже стенам конспиративной явки.

У Клеточникова похолодело внутри. Он понимал, что будет означать такое вот секретное совещание перед съездом партии.

— Неужели раскол? — тихо спросил он.

— Постараемся обойтись без раскола. Думаю, это возможно.

— Но ведь, по существу, у вас будет свой, особый съезд сторонников террора!

— Соловьев начал большое дело, Николай Васильевич, и отступать теперь некуда. Будь что будет, а надо идти вперед.

— Тогда передайте товарищам, — твердо сказал Клеточников, — что в случае раскола мною могут располагать именно боевики.

— Передам...

Таким был этот их решающий разговор.

А через некоторое время канцелярия господина Кирилова получила неожиданную передышку в работе. Довольные и торжествующие ходили все лето агенты: словно жарким июньским ветром унесло из города самых опасных врагов — заговорщиков. Никаких политических убийств, никаких забастовок, даже листовок стало меньше. Все было великолепно!

Но каждый день по нескольку раз бегал к почтовому ящику секретарь шефа политической агентуры Николай Клеточников. На работе он стал нервным, рассеянным, а возвращаясь в свою холостяцкую квартиру, вспоминал разговор с Михайловым и все думал, думал, думал о нем...

Как у них там дела, на съезде? Почему нет вестей?

Отлучка Михайлова затягивалась и становилась нестерпимой.

ЛИПЕЦКИЙ ПИКНИК

В маленький городок Липецк каждое лето приезжали на целебные железистые воды отдыхающие с разных концов России.

Разношерстная публика быстро знакомилась между собой в липецких гостиницах и на постоялых дворах. И вскоре городок охватывала веселая жизнь. Целый сезон «больные» играли здесь в карты, пили водку, опохмелялись рассолом и переживали короткие дачные романы.

Местные жители приспособились к этому своеобразному лечению некоторых больных и научились извлекать немалый доход из их разгула.

16 июня 1879 года к предприимчивым липецким извозчикам, собиравшимся обычно возле плотины, подошел господин в белом летнем костюме и элегантном котелке. На его пальце сияло толстое обручальное кольцо, поперек живота к часам тянулась массивная цепочка. Сразу видно было — не провинциал. Столичная штучка!

— Милейший, — щелчком подозвал он бородатого извозчика, — тут компания моя желает поглядеть ваши достопримечательности...

— Чего-с?

— Ну, есть у вас в городишке хоть что-нибудь интересное?

— Не могу-с знать!

— А ежели за городом?

— За городом? — извозчик задумался. — Это как понимать, значит, интересное, ваше благородие? Чтоб веселее было, что ли?

— Слава богу, уразумел наконец.

— Есть, ваше благородие, есть одно местечко. За рекой. Будете довольны...

— Поглядим. Значит, завтра с утра отправляемся. Приготовь колясок на одиннадцать человек.

— Будет сделано, ваше благородие.

— С нами дамы! — господин многозначительно поднял палец. — Уразумел?

— Все понял. Не ударим в грязь, ваше благородие. А где мне вас сыскать в случае чего?

— На постоялом у Мартынова. Спросишь приезжего из Петербурга господина Безменова...

На следующее утро в пролетки уселась вся компания. К задкам привязали объемистые корзины с заку-

сками, а в иоги поставили сумки с водочиыми бутылками. Да, компаиия подобралась веселая!

Уже в дороге господии Безмеиов, нисколько ие стесияясь посторонних, прииялся с азартом распечатывать иовеиькую колоду карт. Другой пассажир, этакая музыкальная иатура, стал бренчать на гитаре. Правда, вначале получалась какофония, ио постепеиио под пальцами вылепился украииский мотив. Мелодия оказалась грозиой, томительио-страстиой, и одии за другим подхватывали ее беспечные курортиики. Наконец их голоса слились в стройиое двухголосье. Казалось, иа пролетках поют ие полузиакомые гуляки, а спевшийся хор настоящих артистов. Купеческий сынок, сидевший в первой пролетке, обернулся иазад и стал иа ходу дирижировать. Повинуясь его волевому жесту, то затихал, то сиова вздымался иад рекой славиый гими вольных гайдамаков. «Гой, да ие дивуйтесь, добри люди, що иа Вкраини повстаиие», — звучиый, богатый оттеиками баритои самозваиого дирижера уверенио вел за собой остальные голоса. И на запевалу невольио обращали виимание — так живописио, так ярко выглядел загорелый красивый человек. Вьющаяся бородка обрамляла его умиое, властиое, эиергичиое лицо; вышитая украииская рубаха ладио облегала сухощавое, крепко сбитое тело; шаровары и красиые сапоги довершали облик купеческого сыика, делая его похожим иа иовгородского былиниого героя Василия Буслаева. И как-то само собой получилось, что ои, этот былииный человек, стал душой общества, любимцем компаиии. А голосом ои сумел очаровать ие только попутчиков, но даже возиц.

Накоиец песия прекратилась. Несколько мииут люди молчали, наслаждаясь иеяркой, ио родной сердцу красотой русского пейзажа.

— А тебя, Тарасушка, не узиать, — повериулся к купеческому сыну — запевале его сосед, узколицый, добродушиый и медлительиый украииец, одетый в студеический мундир. — Дюже разошелся ты сегодия, дюже веселый...

— К добру разошелся, Михайло ты мой милый,

к добру! Бродит си-луш-ка по жи-луш-кам, ни-как мне не унять, эх-эх! — Тарас вдруг отчаянно закрутил головой, словно искал глазами, куда ему можно деть распиравшую изнутри силу.

Михайло осмотрел критически его сухощавое, подобранное, но отнюдь не сильное на вид тело, оценил небольшие изящные руки Тараса и чуть-чуть заметно усмехнулся в усы.

— Ну, коли тебя черт дергает, Тарас, попробуй, что ли, подними пролетку за ось. Может, успокоишься? — не без ехидства посоветовал он.

— А что? Мысль! — загорелся Тарас. — Скажешь, не подниму?

В это время лошади уже миновали пойму, иссеченную рытвинами и ручейками, и легко вбежали в тенистый лесок. Вдали виднелись деревянные строения — здесь находилась цель поездки, маленький лесной ресторан. Липецкие кутилы устраивали там, подальше от людских глаз, свои попойки и пирушки. Сюда-то и повезли компанию кучера.

Пролетка Тараса и Михайлы остановилась первой возле ресторана. Но еще на ходу Тарас соскочил на землю и побежал назад.

Вот приблизилась к нему вторая пролетка. Неожиданно человек метнулся ей навстречу. Несколько секунд бежал Тарас рядом, потом наклонился и... ухватив заднюю ось, приподнял экипаж в воздух вместе с седоками.

Толчок! Пассажиры попадали друг на друга. Пролетку будто припечатало к месту. Лошадь нетерпеливо ударила копытами в землю, рванулась, но потом остановилась. Оторопело соскочил с козел кучер, поискал глазами причину «крушения» и вдруг увидал побагровевшего купеческого сынка. Рот кучера перекосило от удивления, он охнул:

— Ну и силен, дьявол, лошадь перетянул!

А Тарас как ни в чем не бывало медленно опустил пролетку на землю, вынул из кармана носовой платок с монограммой и стал старательно перевязывать им палец.

Скоро подъехали остальные пролетки.

Однако неожиданно произошла заминка. Распоряжавшийся пикником господин Безменов поморщился и наотрез отказался кутить в ресторане. Не понравился ему ресторан, да и все!

Он потребовал, чтобы кучер указал место в лесу, где можно на заграничный манер устроить «завтрак на траве».

Молодой паренек вызвался проводить господ до лесу. Минут через десять подходящее место нашли: это была уютная, будто устланная зеленью поляна, в центре которой тесным кружком возвышались кусты и деревья. Укрывшись внутри кружка, можно было видеть всех приближавшихся к поляне, оставаясь для них невидимыми.

— Идеальное место! — сказал привередливый петербуржец господин Безменов и даже потер руки в знак удовольствия.

В награду за усердие извозчикам отвалили с барского стола несколько бутылок и закуски. Уходя, в последний раз оглянулся парень на веселую компанию. Все одиннадцать человек — десять господ и дама — уже уселись на траве вокруг разостланных скатертей. Усатый петербуржец — ловкий столичный щеголь — важно приподнялся с места и придирчиво осматривал местность.

— Ну, теперь начнут! — ухмыльнулся извозчик, заворачивая за кусты. — Теперь тут будет дело! Как бы только их, голубчиков, вечером не растерять, собрать всех из лесу. Эх, сколько закуски набрали!

И, предвкушая добавочную поживу вечером, парень зашагал к ресторану, к дожидавшимся товарищам.

Как бы он удивился, если бы показали ему веселую компанию гуляк через несколько минут после его ухода!

Оставшись одни, лихие кутилы словно позабыли о цели своей поездки. Сиротливо стояли на земле нетронутые стаканы. Ненадкусанными остались бутерброды; струнами книзу лежала гитара. И сам хозяин стола, господин Безменов, словно позабыл про-

возгласить подходящий случаю шутливый тост. Он привстал с места, взволнованно оглядел всех гостей, перевел дыхание и звенящим, острым от напряжения голосом произнес слова, которые впервые прозвучали здесь, в лесу под Липецком, 17 июня 1879 года.

— Товарищи! — сказал Безменов — Александр Михайлов. — Съезд считаю открытым.

На поляне стало тихо.

— Предлагаю выбрать секретаря съезда. Мой кандидат — наш друг, наш запевала товарищ Тарас. Кто с ним не знаком — прошу подружиться. Настоящая фамилия — Андрей Желябов, революционный стаж — восемь лет, судился по процессу ста девяноста трех, рекомендован сюда Михайлой. Возражения есть? Нет. Единогласно...

Липецкий съезд приступил к работе.

КЛЕТОЧНИКОВ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ

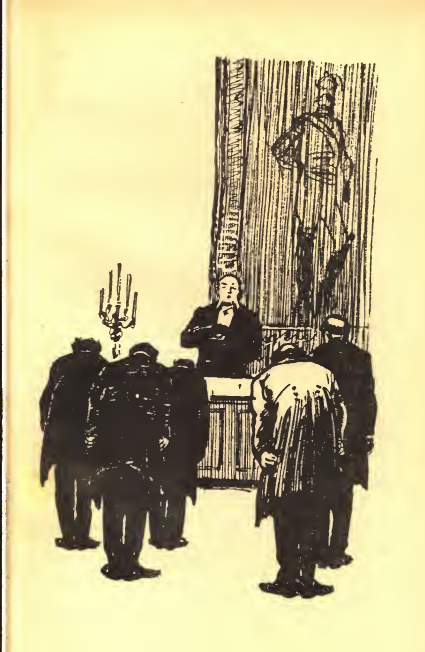
«Дорогой Коля!

Отдохнула чудесно. Очень хочется с тобой встретиться. Масса новостей, и почти все приятные. Братишка соскучился по тебе — страсть. Ты знаешь, он лечился на водах, а потом вояжировал. Чудные, говорит, места приглядел для умственной работы. Просил передать тебе, что все хорошо и все здоровы. Приходи в воскресенье.

Жду с нетерпением.

Твоя Nataly»

Эту записку в конверте он получил в пятницу вечером. А на следующий день (недаром же на почтамте работал «черный кабинет», вскрывавший письма!) эта новость стала известна и в Третьем отделении: «Колькина невеста вернулась с юга. Теперь опять начнет по воскресеньям к ней шляться», — битый час болтали «винтики» полицейского аппарата,



перемывая косточки помощнику делопроизводителя и его невесте. Когда общество, обсудив все, опять начало скучать, из кабинета шефа выскочил сам герой сплетен и, обходя столы, стал собирать чиновников на совещание к Кирилову: видно, случилось что-то экстренное.

Водрузив на нос золоченое пенсне, приступил шеф к чтению важного агентурного сообщения. Веселое и беззаботное настроение исчезло у присутствующих моментально. Их старая противница «Земля и воля», оказывается, этим летом распалась на фракции. На ее развалинах возникли две новые организации: «Черный передел» и «Народная воля». Первая из них собиралась продолжать линию старой «Земли и воли», то есть пропагандировать идеи социализма среди народа и в первую очередь добиваться осуществления лозунга «Земля — крестьянам». Зато вторая партия, «Народная воля», начала свою деятельность с того, что вынесла смертный приговор императору Александру II.

— Приказываю, — важно поднял голову Кирилов, — считать уничтожение преступного общества «Народная воля» первой задачей нашей экспедиции.

Чиновники разошлись с совещания. Передышка кончилась, снова началась тяжелая работа. Опять — знали они — повалит поток следственных дел, докладов, инструкций, и надо будет это переписывать, согласовывать, исполнять, докладывать. А будут ли наградные — бог весть, с террористами-то справиться нелегко, и всякое вообще случиться может... Еще, дай бог, коли в конце концов никого со службы не выгонят...

Ближайшее воскресенье Клеточников провел у Наташи. Полдня, не отрываясь, слушал он «курортные рассказы» Наташиного «кузена». Вопреки обыкновению Михайлов ему подробно рассказал о решениях Липецкого съезда, дал характеристики новых товарищей, принятых в партию, обрисовал перспективы борьбы.

— Все три новичка приехали с юга, — говорил он. — Главная фигура — Тарас. Гениальный человек, честное слово. Российский Робеспьер, прирожденный политик! Но Михайло не хуже, нисколько не хуже Тараса. Он у себя на юге был почти что вашим коллегой, Николай Васильевич, — служил по части министерства внутренних дел. Правда, положение было пониже, устроился всего-навсего надзирателем Киевской тюрьмы. Вывел оттуда трех вожаков южного Исполнительного Комитета. Вот каков... Третий новичок — Кот Мурлыка; одесская организация на него молилась.

— Кажется, в Липецке действительно удачно прошло, — заметил Клеточников. Он был счастлив, что Дворник делился с ним секретными партийными новостями. — Но насколько я понял из Наташиной записки, оттуда вы куда-то направились — «вояжировали»... Видимо, потом был общий съезд всех землевольцев?

— Да, в Воронеже.

— И вас не осудили за идею террора?

— Что вы! — весело замахал руками Михайлов. — Удивительно легко все сошло. Даже не верится! Сначала немного опасно было, когда выступал Оратор...

— Георгий Валентинович Плеханов, тамбовский дворянин, — быстро, будто давая справку, проговорил Клеточников, — кличка «Оратор»; в списке важнейших государственных преступников значится под номером третьим. Опаснейший агитатор и литератор.

— Он самый, — засмеялся Михайлов. — Видите ли, переспорить Жоржа обычно не может ни один человек: знает он все на свете, а языком владеет, как рапирой. Мы его здорово побаивались — думали, будет добиваться исключения сторонников террора из партии. Начал он вслух читать статейку Поэта насчет террора, дочитал ее до конца и грозно так вопросил: «Разве можно такое писать?» Все молчали, растерялись маленько. Тут я мигнул, наши, липецкие заговорщики, в один голос гаркнули: «Можно! Только так и нужно!» Жоржа будто обухом по переносице стук-

нуло. Побелел весь, спрашивает: «Все так считают?» Молчание. «Тогда мне здесь делать нечего», — повернулся и побрел прочь. Жалко было — мочи нет! Одна женщина из наших не выдержала, побежала за ним, да я удержал ее. Все равно, говорю, согласия не будет, так лучше рвать сразу... Воронежский съезд принял все условия нашего — Липецкого! Организация всегда победит неорганизованную массу, — усмехнулся Дворник. Он был необычайно доволен событиями.

— А зачем после такой победы все же раскололи «Землю и волю»? — медленно выговорил Клеточников.

— Раскололись потому, что лучше жить врозь, да в дружбе, чем вместе, да в ссоре. У Плеханова все-таки немало сторонников, вот и решили добром разделиться, не ссориться в работе, а помогать друг другу. Вот что, Николай Васильевич, — вдруг неожиданно, без перехода обратился к нему Дворник, — вам пора, наконец, определить и свое место в подполье. «Земли и воли» больше нет, значит, надо вступать в новую партию. Вы не передумали вступать к нам?

— Нет, Иван Петрович, не передумал.

— Тогда разрешите, — Михайлов встал со стула. Он выглядел важно и торжественно.

Клеточников встал перед ним.

— Именем и по поручению Исполнительного Комитета «Народной воли» я, член Распорядительной комиссии, назначаю вас, Клеточникова Николая...

...Когда в понедельник господин Кирилов приказал своему секретарю подготовить новый доклад министру, мог ли он предположить, что, угодливо склонив перед ним спину и преданно впиваясь взором в его властные глаза, стоит около его кресла самый опасный и ловкий из агентов Исполнительного Комитета «Народной воли»! Не мог — даже во сне, даже в бреду! Существование подпольной контрразведки абсолютно выходило за рамки воображения главаря политического сыска, и именно это долгое время обеспечивало безопасность его неутомимого секретаря.

ПРИГОВОР

26 августа 1879 года Исполнительный Комитет «Народной воли» собрался на свое первое заседание. Слово взял Александр Михайлов.

Публичные выступления не были стихией Дворника. Мастер на все руки — организатор, исполнитель, редактор, Михайлов не был ни теоретиком, ни трибуном подполья. Но именно ему довелось произнести ту пламенную речь, которая окончательно и бесповоротно решила судьбу императора всероссийского Александра II.

— Товарищи, — голос Михайлова звучал плавно и в то же время страстно, Дворник как будто совсем позабыл о своем всегдашнем заикании во время выступлений, — на обсуждение Исполнительного Комитета мною поставлен сегодня вопрос о лишении человека жизни. Этот человек — наш враг, и тем более я призываю к спокойному и всестороннему обсуждению, дабы ни один факт к его оправданию не был пропущен Исполнительным Комитетом.

Этот человек, Александр Николаевич Романов, шестидесяти одного года, император и самодержец всероссийский, обвиняется в организации убийств лучших людей нашей родины.

Александр Романов имеет некоторые заслуги перед Россией. Он участвовал в так называемом освобождении крестьян и в создании новых судебных учреждений; под его руководством были реформированы армия и флот, что позволило России оказать помощь болгарам в освобождении их от турецкой деспотии. При нем уничтожена рекрутчина, отменены телесные наказания, введены земство и всеобщая воинская повинность, что, бесспорно, было полезным для страны. Таковы факты, говорящие в пользу обвиняемого сегодня лица, и я не хочу, чтобы при определении приговора вы позабыли о них.

Однако все эти реформы и государственные деяния были омрачены жестокостью и коварством правительства Александра Романова.

Едва освободив крестьян, он дал им столь мало

7*

земли и за столь высокий выкуп, что это привело к восстаниям безоружных пахарей, к восстаниям, жестоко подавленным солдатами и казаками. Это первая кровь, за которую обвиняемый несет ответственность.

Вы помните преступления, совершенные по его приказу в шестьдесят третьем году! Мы с вами были тогда детьми, но никогда не забудем, как гнали жандармы мимо наших домов тысячи поляков, с семьями, со старыми и малыми, — гнали в Сибирь, в ссылку, повстанцев Речи Посполитой; мы помним, как плакали эти мужественные люди на привалах, вспоминая расстрелянных и повешенных товарищей, рассказывая о горе своей вольнолюбивой родины, растоптанной казаками Александра Романова. Кровь и муки наших братьев-поляков пусть не будут прощены вами сегодня!

В 1866 году в царя стрелял Каракозов, который промахнулся и был осужден на смерть. Каракозов просил его о помиловании. Милостивый царь отказал ему, и человек был повешен. Тот, кто отказал в милосердии, сам не заслуживает милосердия.

В 1874 году царскими жандармами были арестованы тысячи наших товарищей-пропагандистов, пошедших в народ с мирным словом и мирным делом. Они не звали тогда ни к восстанию, ни к убийствам, они несли только свет просвещения и правды. Вы знаете их судьбу. Рядом с вами умирали они в казематах от чахотки, рядом с вами сходили с ума, не в силах вынести ужаса одиночек. Их смерть и безумие — на совести Александра Романова.

Не буду напоминать о виселице для Соловьева, о повешенных в Одессе Виттенберге и Логовенко. В этом случае у Александра Романова есть хотя бы та видимость оправдания, что эти люди покушались на его жизнь. Но за что повесили Лизогуба, виновного лишь в том, что он помогал нам деньгами? Или шестнадцатилетнего Розовского, который наклеил на забор листовку? Или Дубровина и Ковальского, которые сопротивлялись аресту, кстати, никому не нанеся даже раны? За что повешены Осинский, Дави-

денко, Чубаров? Эти кровавые акты произвола, кровь этих светлых и чистых наших товарищей требует отмщения. Виновник — император всероссийский Александр Романов.

Долгие годы его охраняла лучше казачьего конвоя слава царя-освободителя. Михайло, — вдруг обратился Дворник к Фроленко, — мне рассказать или сам расскажешь о том случае?

— Я расскажу, — согласился Фроленко. — Не все товарищи, может быть, знают, что я входил в кружок «чайковцев», начавший работу еще восемь лет назад. Однажды к «чайковцам» явился с юга товарищ, желавший совершить акт цареубийства. Мы категорически возражали, мы сумели убедить его, что убийство царя, освободившего крестьян, а потому пользующегося популярностью — хотя бы совершенно им незаслуженною, — будет вредным для революции. Зная того товарища, а также порядок охраны в те времена, положительно утверждаю, что революционеры спасли царя от смерти!

— Вы сами теперь видите, сколь мы были терпеливы, — продолжал речь Михайлов. — Мы не хотели посягать на его жизнь, на жизнь нашего врага. Но нынче чаша терпения переполнилась кровью казненных товарищей. Кто виноват в этих казнях? Жандармы? Но им приказывают производить казни генерал-губернаторы. Генерал-губернаторы? Но они получили право, более того — приказ казнить наших друзей от самого царя. Он взял тем самым на себя одного ответственность за пролитую кровь, и пусть теперь она падет на его голову. Я голосую за смертную казнь Александру Романову.

Было тихо.

— Есть и другая, более важная сторона дела, — спокойно начал свое выступление Тарас — Желябов. — По наблюдениям многих наших товарищей и по моим собственным, именно темная вера народа в царя-батюшку в значительной степени задерживает наступление крестьянской революции. Следовательно, устранение Александра Романова может стать для народа сигналом к освобождению, к началу всеобщего

восстания. Политический выигрыш настолько громаден, что я голосую за смертную казнь.

Он оглядел лица товарищей.

— Все выгоды пока на нашей стороне. Силы у нас небольшие, но они неизвестны полиции, значит, неуловимы и недосягаемы. Говоря языком шахматистов, мы можем сосредоточить удар всех своих фигур на позицию вражеского короля и создать неотразимую атаку. Я убежден — им не устоять. Предлагаю также в случае утверждения Исполнительным Комитетом смертного приговора возложить способ его исполнения, а также выбор места казни царя на Распорядительную комиссию — на Дворника, Михайлу и Сашу Квятковского. Я кончил.

Дворник встал.

— Есть еще мнение? Нет. Тогда голосуем.

— Смерть.

— Смерть.

— Смерть.

— Смерть.

— Смерть.

ЛАЗЕЙКА В ПОДПОЛЬЕ

С этого дня, с 26 августа 1879 года, начался новый этап героического единоборства горстки безумно смелых людей с могучим государственным аппаратом Российской империи. С этого дня тайная политическая полиция не знала ни минуты покоя в течение четырех лет.

Все силы охраны жандармерия в спешке собрала вокруг персоны императора. Прочие дела, направления, партии казались теперь второстепенными и отошли на задний план. И именно тогда, осенью, в обстановке беспримерного смятения и суматохи, охватившей верхи общества, произошло в Третьем отделении неслыханное происшествие: из дела заключенного Дмитрия Клеменца исчезли протокол обыска и все вещественные доказательства.

Дело Клеменца в прокуратуре вообще считалось каверзным. Следователи знали, что Клеменц один из самых видных подпольщиков; через Николая Рейнштейна удалось выяснить, что он был главным редактором центрального органа революционного подполья. Но прямых улик против опаснейшего человека у них почти не было: опытный конспиратор, он не дал следствию никаких зацепок. Единственный свидетель обвинения, Николай Рейнштейн, стал покойником уже в самом начале следствия, при весьма загадочных обстоятельствах. В арсенале обвинения остался лишь тючок нелегальной литературы, обнаруженный при обыске в диване Клеменца. При умелом ведении дела и на этом тючке можно было построить обвинительный приговор. Но вдруг...

Но вдруг эта бесценная пачка прокламаций — фундамент обвинения — исчезла бесследно из подготовленного к слушанию дела. Как и куда?! Неясно. Совсем потерялись в страхе чиновники Третьего отделения. Ничего подобного никогда не случалось и случиться не могло, и они даже не знали, с какого бока за такое дело приниматься. Сначала перерыли все другие дела. Потом подняли весь архив. Нигде ни следа, ни ниточки. Следствие застопорилось.

Что делать?

А пачка эта находилась на конспиративной квартире.

Когда в одно из воскресений Клеточников притащил Михайлову эту кучу драгоценных прокламаций, наделавших столько шуму, у Дворника затряслись от волнения руки.

— В-вы сп-пасли Дмитрия от вечной к-каторги. — сильно заикаясь, выговорил он. Клеточников стоял розовый от смущения, счастливый, как никогда в жизни. Он спас товарища! *

---

* Дмитрий Клеменц вместо вечной каторги получил минимальное наказание — пять лет административной ссылки с сохранением прав. Поэтому он смог стать в Сибири крупнейшим ученым, географом и этнографом. Впоследствии он — директор отдела этнографии Русского музея.

— Это не слишком рискованно? — внезапно забеспокоился Дворник. — Не грозит провалом? Запомните, Николай Васильевич, вы для нас дороже любого другого человека. Может, отнести обратно?

— Что вы! — нервно потирая ладонью поседевшую бородку, успокаивал его Клеточников. — У нас в отделении сейчас такой переполох в связи с императором, что никто, надеюсь, не обратит особого внимания на пропажу бумаг.

Говоря по правде, сам он вовсе не был в этом уверен. Но снести бумаги Клеменца обратно в Третье отделение казалось ему выше сил человеческих. Расчет основывался на том, что затормошенный, сбитый с толку непривычно большим потоком дел Кирилов просто махнет рукой, не станет переворачивать все вверх дном, доискиваясь, у кого в последний раз видели в руках бумаги Клеменца. До бумаг ли тут, когда государя императора что ни день убить могут!

И впоследствии эти расчеты оправдались.

Срочной депешей Кирилова вызвали в Москву. Он пригласил к себе в кабинет Клеточникова и поручил ему за время своего отсутствия закончить два важных дела. Это задание было как бы новым знаком особого доверия начальства.

— Первое — во что бы то ни стало найдешь бумаги Клеменца. Без них не показывайся мне на глаза. Они где-то у вас в канцелярии валяются.

— Будет сделано.

— А еще... Ты номер «Народной воли» читал?

— Нет, еще не видел.

— Мне вчера доставили. Так вот, погляди-ка это место.

Он протянул секретарю подпольную газету, в которой красным карандашом было отчеркнуто следующее объявление:

«Исполнительный Комитет извещает, что Петр Иванович Рачковский (бывший судебный следователь в Пинеге, а в настоящее время прикомандированный к министерству юстиции, сотрудник газет



«Новости» и «Русский еврей») состоит на жалованье в Третьем отделении. Приметы его...» Взгляд Клеточникова скользнул вниз по строчкам: приметы-то он знал. А, вот оно: «Исполнительный Комитет просит остерегаться шпиона».

— Петр Иванович? — полувопросительно, полуутвердительно произнес он.

— Петр Иванович — Юрист, — подтвердил Кирилов. — Не повезло бедняге. Он у себя в Пинеге подружился со ссыльными, сюда приехал с отличными письмами к местным коноводам. Да вот видишь... Не так оно все просто делается в нашем деле, как кажется некоторым молодым.

— Что мне прикажете делать с этим?

— Надо договориться со смотрителем, чтобы Петру Ивановичу в тюрьме не было тягостно. Составь отношение по моей резолюции, я чистый бланк подписал. Возьми...

— В тюрьму?.. Петра Ивановича в тюрьму?..

— Эх, молодо-зелено, — засмеялся Кирилов. — А ты как думал? Доказательств против него у них нету никаких, одни подозрения, конечно; значит, посидит он в тюрьме — ну и выйдет мучеником, за правду пострадавшим, и уж тут без ошибки попадет в Центр. Тюрьма у них считается вроде ордена. Это старый способ выхода на Центр. Понял?

— Понял.

— Ну, значит, иди и выполняй. То-то вы, молодые, много скачете, а мало знаете.

...Поручение, касавшееся Петра Ивановича, «союзника» по ресторану Дюссо, он исполнил в тот же вечер: очень уж приятно было отправить этого способного авантюриста в тюремный замок, тем более что Клеточников знал: никакие тюрьмы не снимут с агента Юриста обвинения в провокаторстве. После давешнего сообщения Михайлов быстро выяснил, что один из работников подпольной типографии действительно взял для нелегальной поездки судейскую фуражку и вицмундир у некоего Рачковского. Таким образом, фамилия законспирированного даже от Клеточникова провокатора была раскрыта — и как

следствие этого появилось сейчас объявление в газете. Оно будет преследовать Рачковского всю жизнь; у него остался, кажется, единственный выход: поступить в полицейский штат и официально стать чиновником полиции.

Сложнее было справиться с делом Клеменца.

В этом поручении были свои плюсы, но также и свои минусы. С одной стороны, розыск бумаг можно было теперь похоронить, уничтожив все концы. С другой — невыполнение ответственного поручения означало неизбежную опалу у шефа агентуры. А Клеточникову казалось важным узнать, зачем Кирилова вызвали в Москву. Чутье подсказывало, что за поездкой скрывается нечто особое. В таких условиях опала даже на несколько дней может стать опасной. Но что делать?

...Когда спустя неделю начальник появился у себя в кабинете, его смуглое лицо сияло торжеством и довольством. Немедленно были вызваны и получили распоряжение жандармские офицеры. Затем настал черед Клеточникова.

— Нашел бумаги?

— Никак нет, ваше превосходительство.

— Не надо быть дураком, — выразительно бросил ему Кирилов.

Расспрашивать его о московских делах Клеточников не решился в такую минуту: это могло вызвать ненужные подозрения. Более того, ему пришлось изобразить обиду и быстро удалиться из кабинета со скорбным видом. Секретарь не сомневался, что его обязательно призовут снова, но когда, когда это случится? И сколько вреда до тех пор успеет наделать оставленный без присмотра генерал? Этого никто не мог предсказать...

К счастью, опала длилась недолго. Через две недели шефу опять понадобились способности секретаря, и Клеточникова вернули в «случай». Все прошло как ни в чем не бывало. Разве только в уголках генеральских глаз поблескивали лукавые искорки: дескать, чувствуешь, черная кость, каково без меня живется! Клеточников всячески показывал, что очень

чувствует, и в конце концов Кирилов не выдержал, разоткровенничался. При всей своей хитрости он не мог обойтись без того, чтобы не похвастать своими успехами, хотя бы перед секретарем.

Оказывается, в Москву Кирилова вызывали для участия в допросе арестованного наборщика чернопередельческой типографии Александра Жаркова.

— Эта типография, Николаша, — генерал находился в добром расположении духа, — была раньше типографией всей «Земли и воли». Сколько лет я за ней гонялся — не упомню. От министра выговора три за нее выслушал. А тут в мои руки попал наборщик, дьявол его задери! Сознавайся, говорю, бандит, не то повешу, как собаку! Видит, мерзавец, что не шучу, не угрожаю — возьму да и повешу, с Третьим отделением у нас пока что считаются. Знаешь, на глазах сломался! — Кирилов устало потянулся, и где-то в рукавах форменного мундира хрустнули локтевые суставы. — С удавкой не пошутишь, братец! Завербовался в сотрудники. Сегодня ночью накрыли типографию — с хозяйкой и наборщиками. Теперь все поймут нашу цену. Старые работники сыска — они решительные и дело знают!

— Ваше превосходительство, — вглядываясь чистыми глазами в лицо шефа агентуры, предложил наивным тоном Клеточников, — а что, если этого Жаркова попробовать двинуть к народовольцам? В наборщики! Это же дефицит в подполье!

Лицо Кирилова смешно надулось и стало хитрым-прехитрым: глаза прикрылись веками, длинный нос опустился почти до подбородка, а губы чуть-чуть повело в сторону.

— Не знаю, не знаю, может, и стоит употребить его там, — усмехнулся он. — «Черный передел» мы кончили разрабатывать. Через день-два обложим все квартиры. Плеханова вот надо взять. А потом можно «уцелевшего от ареста» Жаркова пустить на связь в «Народную волю». Как это ты сказал? Слово-то? Де-фи-цит? Хорошее слово. Что оно значит? К пасхе, если бог даст, будет все хорошо, коллежского совет-

ника, Николаша, получишь. Рад? Не благодари — заслужил. Порядок в Третьем отделении! — вдруг почти продекламировал он. — Ну иди, иди работай.

В тот же вечер на квартире у Наташи Клеточников встретился с Михайловым — «отставным поручиком Поливановым». Выслушав его, Дворник немедленно отправился разыскивать Плеханова.

Встреча руководителей организаций произошла в запущенной студенческой мансарде. До последнего момента Михайлов надеялся, что Кирилов прихвастнул, что потери вовсе не так чувствительны. Но истинные размеры предательства оказались страшнее любых рассказов. Сам Плеханов показался Дворнику похожим на медведя, со всех сторон обложенного охотниками. Типографии у «Черного передела» больше не было; основные явки стали ловушками для активных работников. Осталось лишь несколько слабых кружков в столице и провинции. Деваться Жоржу было некуда. Кирилов не солгал: «Черный передел» был разгромлен. «Народная воля» осталась теперь единственной боеспособной организацией подполья. Благодаря предупреждению Клеточникова и Михайлова удалось, однако, спасти руководителей «Черного передела».

Да, это был большой успех Третьего отделения! И когда через несколько недель заграничная агентура донесла Кирилову, что Плеханова «засекли» в Женеве, что он все-таки ускользнул, шеф не слишком взволновался, хотя давно мечтал прибрать к рукам Оратора.

— Генерал без армии, — подводил он итоги операции, — пусть себе в Швейцарии почитывает книжечки. А мы пока должны раздавить «Народную волю». Это было и остается нашей главной задачей. Борьба не кончена, она только начинается! — с пафосом закончил он свое сообщение.

Никогда еще Клеточников не видел начальника таким бесконечно уверенным в победе над подпольем. И для этого у Кирилова были теперь все основания.

Все, кроме одного...

ВСТРЕЧА С «САШКОЙ»

Причина неуязвимости немногочисленной «Народной воли» заключалась в ее удивительной конспиративности. Даже случайно захватив в свои руки отдельных народовольцев, Кирилов ничего не мог бы с ними сделать, ибо в Третьем отделении не знали ни единой фамилии членов партии. Агентам было необходимо заполучить хоть какого-нибудь осведомителя в рядах террористов — без этого тайная полиция лишалась всей своей силы и мощи.

Осенью 1879 года большие надежды возлагались на Жаркова. Лучшие мастера сыска разработали для него план проникновения в «Народную волю», хитроумные маневры, казалось, обеспечивали этому делу верный успех. Кирилов приснился самому себе тайным советником и даже кавалером ордена Белого Орла, да и все остальные агенты мечтали о наградах и орденах.

Неожиданно донесения от Жаркова перестали поступать. Вскоре его разыскали...

Клеточников как раз присутствовал в кабинете, когда побелевший Кирилов дочитывал отношение петербургского полицмейстера. Александр Жарков, агент по кличке «Наборщик», был найден будочником примерзшим к льдине. Голова его оказалась размозженной выстрелом в упор из крупнокалиберного револьвера. К телу была приколота записка: «Такая смерть ждет каждого предателя...»

Тяжело восприняли гибель Жаркова в Третьем отделении. Одной пулей народовольцы оборвали все главные нити и уничтожили надежду полиции быстро покончить с подпольем. Как туча черный бродил по зданию смятенный и растерянный Кирилов. И тяжелые, усталые складки пролегли у губ его любимца и секретаря Клеточникова.

Вскоре после расправы с предателем Михайлов с удивлением заметил, что у Клеточникова непонятно подавленное настроение. Разведчик осунулся, похудел, глаза его стали воспаленными, на щеках по-

явилась жесткая щетина. Не слишком ли хорошо, удивился Дворник, играет Клеточников перед начальством свое отчаяние от неудач Третьего отделения?

— Что с вами творится, Николай Васильевич? — как-то спросил он.

— Мне трудно объяснить... — Николай Васильевич опустил голову. — Как будто изнутри грызет: «Убийца! Убийца!» По ночам кровь снится, покойники, и будто я убиваю человека.

Михайлов внимательно слушал. Да, хороший он человек, этот Клеточников. А хорошему человеку трудно поднять руку на другого человека — даже на провокатора или жандарма. Нечто подобное испытали в свое время многие подпольщики. Сергей Кравчинский, например, двадцать раз выходил на встречу с шефом жандармов Мезенцевым и все не мог пустить в ход спрятанного за пазухой кинжала. Только услыхав о казни революционера Ковальского, совершенной по приказу этого Мезенцева, подпольщик нашел в себе моральную силу привести в исполнение приговор партии и уничтожить шефа жандармов. Да, состояние, у Клеточникова знакомое, но как с этим справиться?

— Это у меня еще после Рейнштейна началось, — виновато улыбаясь, вымолвил Клеточников, — а сейчас особенно... Может, потому, что один я все, а среди них, среди подлых, разве поймешь, что хорошо, что дурно! Мне бы с товарищами повидаться, поговорить... Необъяснимо, но, я уверен, поможет это...

— Ох, не хочется мне показывать вас никому! — вырвалось у Михайлова. — Уж вы-то, кажется, знаете, как это бывает... Кто-нибудь кому-нибудь слово лишнее, даже не скажет — намекнет, а там... Да и товарищи — разные у них бывают дороги. Тяжело об этом думать, а приходится!

Клеточников замолчал. Но таким скорбным было это молчание, что Михайлов невольно задумался: а может, уступить его просьбе? Как раз сейчас в гостинице его дожидается Сашка — самый нужный для Николая Васильевича человек, надежный и молчаливый. Риск от встречи с ним для Клеточникова, по

правде говоря, невелик — Сашка не разболтает и не выдаст, это исключено. Пожалуй...

Еще раз Михайлов мысленно взвесил в уме все «за» и «против».

— Хорошо. Мы отправимся сейчас ко мне в «Москву». Там вы увидите человека, который ликвидировал Жаркова. Можете говорить с ним сколько угодно и о чем хотите. Единственное условие — не называть себя и свое место службы. Человек он верный, но, знаете, излишек осторожности не помешает.

Впервые шли они вдвоем по улице. Рядом с солидным чиновником Третьего отделения петушком вышагивал фатоватый прощелыга, мелкий волокита, который все время заглядывал под шляпки встречным барышням, заигрывал с ними, оборачивался вслед и в эти считанные секунды успевал краем зрачка зацепить, ощупать, оценить каждый силуэт, возникавший у него за спиной. «Попробуй выследить такого!» — посочувствовал Клеточников агентам Третьего отделения.

Через полчаса они подошли к «Москве». В вестибюле навстречу Михайлову поднялся не один, а два человека. Даже со стороны стало заметно, как разозлился Дворник, увидев второго гостя. Он задержал шаг, будто намереваясь круто повернуть к выходу, но уже поздно было — оба увидели спутника Михайлова. И хозяин, яростно печатая шаг, прошел в номер.

«Здравствуйте» вышло предельно сухим. По лицу Дворника шли красные пятна от раздражения. Ох, достанется Преснякову за его расхлябанность, за беспечность и развинченность! Ну зачем, с какой стати он привел с собой в гостиницу этого дружка Ваню Окладского! Конечно, Ванечка — надежный товарищ, но к чему лишний раз с ним шляться на конспиративную явку! Друг? Что с того? Это подлость — шататься с другом куда тебя не просят, взвинчивал себя Михайлов. Наказать Преснякова! Чтоб неповадно было друзей куда не надо водить.

— Познакомьтесь, — еле сдержав себя, представил он одного из гостей. — Это тот человек, которого вы хотели видеть, — Андрей Пресняков, иначе Сашка.

Сашка медленно протянул руку. Высокий блондин с рыжеватыми усиками, с маленькими прищуренными глазками, он был похож на золотоискателя, пирата или зверолова из романа Джека Лондона. От него веяло холодом и силой.

— А это мой Санчо Панса — Ванечка, прошу любить и жаловать, — насмешливо, но любовно представил Сашка своего спутника.

Ванечка заинтересовал Клеточникова. Он казался полной противоположностью своему Дон-Кихоту: маленький, черный, с длинным лицом и быстрыми глазами. В своем засаленном сюртуке и сапогах бутылкой он напоминал Николаю Васильевичу пензенских прасолов (торговцев скотом), которых часто встречал в детстве.

— Вот что, Сашка, — начал, наконец, Дворник, — этому товарищу надо рассказать про Жаркова. Понимаешь?

Пресняков повел плечом, что означало: понимаю, чего тут не понять, можно и рассказать... Потом он поглубже уселся на продавленный диван и закурил папиросу.

За окном быстро темнело. Лица Преснякова, затянутого табачным дымком, почти не было видно.

— Я убил его в глухом месте, на Охте. Пригласил якобы для важных переговоров, осмотрелся вокруг, увидал, что за нами никто не следит. Тогда взял за шиворот и объявил, что предательство обнаружено и партия приговорила его к смерти. Он был так ошарашен, что даже не пробовал сопротивляться. Молча выслушал приговор, молча покорился своей участи — принял пулю. Застрелив, я оставил тело на льду и ушел. Вот и все.

В сумерках Клеточникову вдруг примерещилась эта мрачная сцена на Охте. Как живого, увидал он жалкого, перетрусившего, морально раздавленного собственным предательством Жаркова, трепещущего перед грозным истребителем шпионов.

— Но мне хочется спросить... Извините, но как вы можете так спокойно думать и говорить обо всем этом? Вот что я хочу понять! Он подлец, он


g

предал, но ведь все-таки человек! — голос его дрогнул.

— Слушай, Дворник, — глаза Сашки недобро сверкнули, — ты кого к себе привел? Это что за господин?

— Наш.

— Наш?! Он, кажется, считает нас убийцами и мясниками. — Сашка резко встал. — Как вы можете спокойно говорить и думать? — повторил он слова Клеточникова и вдруг горько усмехнулся. — Да если признаться по совести, не пришел бы этот гнусный клоп Жарков ко мне на встречу, я, может, счастливый бы теперь ходил!

— Значит, все же жалеете его? По-человечески?

— При чем тут жалость? Ведь убиваем мы вредных животных, крыс, клопов, гадюк и не чувствуем к ним жалости. А провокатор — это самое гнусное, самое вредное животное! Я товарищей жалею, которые из-за него по тюрьмам да каторгам погибают. Только все равно — убивать противно! Хуже этого ничего нет. В кулак сердце берешь, когда делаешь. Но — надо. Потому что либо мы его одного, либо он многих, нас. Не меня — нас, друзей наших, под виселицы и расстрелы пустит. Хуже еще, дело наше может убить! Понимаете?

Каждое слово Преснякова камнем падало на Клеточникова. Он съежился, весь подобрался, пальцами правой руки нервно комкал шляпу. Что можно было возразить Сашке?

Вдруг Пресняков рывком приподнялся с дивана.

— Готово, Дворник, то, за чем пришли? Темно уже, пора двигаться.

Они ушли, пригибаясь под тяжестью небольших чемоданчиков — возможно, с динамитом и капсюлями.

По выражению лица хозяина Клеточников понял, что ему тоже пора уходить. Михайлов ждал кого-то. и этот кто-то не должен был его здесь встретить. С трудом оторвался Николай Васильевич от дивана и направился к дверям. Михайлов поднялся, чтобы проводить его.

Уже у порога Дворник вдруг спросил:

— Помните выстрел Веры Засулич в полицмейстера Трепова?

— Немного. Меня тогда не было в Петербурге. Только по газетам...

— Трепов приказал в тюрьме выпороть нашего товарища за то, что якобы тот не снял перед ним шапки. От унижения этот товарищ сошел с ума. Мы хотели мстить, готовили покушение. Но вдруг в Петербург приехала Вера Засулич, которая и в глаза не видела пострадавшего товарища. И пока мы собирались, выслеживали Трепова, она вошла в его приемную, выждала момент, выхватила револьвер и выстрелила. А на суде объяснила так: «Тяжело, очень тяжело поднять руку на человека, но сделать это надо было».

— И ее оправдали, — тихо сказал Клеточников.

— И ее оправдали, — Михайлов дружески обнял его за плечи. — Это был первый и единственный случай, когда власти предали «политика» не суду назначенных чиновников, как они делают это обычно, а выборному суду присяжных. Решили попробовать! Два прокурора отказались еще до суда от обвинения, предчувствуя неизбежный провал процесса. И конечно же, присяжные вынесли Засулич оправдательный вердикт. Потому что от имени русского общества они согласились с ней, что «сделать это надо было». Помните об этом всегда, дорогой мой Николай Васильевич! Надо!



Их руки сомкнулись в прощальном пожатии.

ЧАСТЬ

ТРЕТЬЯ

ЧЕМОДАН С ДИНАМИТОМ





ЦАРСКИЙ ПОЕЗД

Все лето и почти всю осеиь Алексаидр II провел с семьей в своем южиом ливадийском дворце.

В Крыму было чудесно! Здесь впервые за последний год оставил царя мучительиый страх перед выстрелом или перед взрывом. Только в середине ноября император со вздохом решил прервать свои затяиувшиеся каиикулы и сообщил министрам, что изволит вериуться в столицу.

Начались предотъездные хлопоты.

Министерство двора быстро подготовило иесколько вагоиов необходимых в дороге вещей и припасов; миистерство путей сообщеиия пустило под пары два так иазываемых литериых поезда: один для царя, другой — свитский и багажиый. Не дремало и миинстерство внутреиних дел: оно разо-

слало шифрованные телеграммы в Симферополь, Екатеринослав, Харьков, Орел, Тулу, Калугу, Москву, Тверь и Новгород с предупреждением о возможности покушения в этих пунктах на императорский поезд. Всем жандармам, а также стрелочникам, обходчикам, весовщикам, носильщикам и прочим железнодорожникам приказывалось следить за пассажирами и за багажом. Тысячи людей были подняты вдоль линии следования императорского поезда.

А несколько высших чиновников тайной полиции было послано в Ливадию. Шеф жандармов поручил им изложить императору свое мнение о маршруте.

Стоял прохладный осенний день, когда царь принял прибывших. Он сидел под сенью своих любимых олеандров, водя носком мягкого сапога по золотистому песочку дорожки, и внимательно выслушал почтительный доклад генерала, помощника шефа жандармов.

— Ваше величество уже изволили отдать распоряжение о маршруте?

— Да, — кивнул Александр, — мы с княгиней давно задумали прогуляться на яхте до Одессы, а оттуда поездом.

— Но, ваше величество, на море стоит дурная погода. Шеф жандармов считает...

Царю показалось, что он ослышался.

— ...считает, что вам надо ехать прямо от Симферополя. Литерные поезда уже приготовлены на симферопольском вокзале.

— Что?! — повысил голос Александр. — Изменить мое распоряжение?!

— Ваше величество, — умоляюще заговорил генерал, — Александр Романович Дрентельн покорнейше просит вас не ездить в Одессу. Там что-то готовится. На улицах видели Преснякова.

Александру стало невыносимо противно. Бояться Преснякова! Он хорошо помнил эту фамилию по отчетам и докладам Третьего отделения. Года три назад Пресняков заколол агента Шарашкина; потом покушался на жизнь агента Беланова; был взят, но сбежал по дороге из тюрьмы на допрос, засыпав карау-

лу глаза табаком; вскоре после этого царю доложили: вероятно, это он застрелил агента Жаркова. Путь Преснякова отмечен убийствами царских слуг, и, возможно, конечно, что сейчас он добирается до него, Александра. Возможно! Но как все-таки противно повелителю России бояться какого-то Преснякова!

Лицо царя исказилось неприятной гримасой, щека задергалась. Увидев этот приступ царской истерики, чиновники Третьего отделения с облегчением поняли: дело выиграно, царь поедет из Симферополя...

А в Петербурге канцелярию Кирилова лихорадило от работы. Десятки телеграмм с пометками «Срочно. Секретно» уходили и приходили каждый день, кого-то подстегивали, напоминали, угрожали, предупреждали, изолировали — и расчищали «зеленую улицу» литерному поезду его величества.

Никогда еще так слаженно, как в эти дни, не работали Кирилов и Клеточников. Как машина, с невероятной быстротой и точностью выполнял помощник делопроизводителя новое поручение начальства — расшифровывал и зашифровывал строго секретные депеши. Готовые к чтению телеграммы ложились на стол действительного статского советника ровно через три минуты после их поступления. Клеточников никому не хотел уступать даже крупицы этой важнейшей работы, которая позволяла ему быть в курсе всех мер по охране императора. Он не уходил с дежурства домой, ночуя и питаясь в Третьем отделении. Казалось, на этот раз ему обеспечен новый чин!

14 ноября Николай Васильевич положил на стол перед шефом экстренную телеграмму из Елисаветграда:

«Сегодня на елисаветградском вокзале, — гласила она, — задержан жандармами прибывший одесским поездом неизвестный человек, ехавший в Курск и называющий себя почетным гражданином Тулы Ефремовым. При задержании оказал сопротивление. В багаже Ефремова больше пуда взрывчатых веществ. На допросе объявил себя социалистом. Произвожу дознание.

Начальник поста майор Пальшау».

Едва прочитав телеграмму, Кирилов со всех ног кинулся в кабинет шефа жандармов. Минут через пятнадцать он вышел оттуда крайне довольный. Мурлыкая что-то себе под нос, шеф агентуры показал Клеточникову резолюцию Дрентельна. Его высокопревосходительство своим бисерным почерком изволил написать на бланке наискосок: «Не к проезду ли императорского поезда готовился?» Мудрая сообразительность начальства привела Кирилова в столь хорошее настроение.

— Вот кого мы с тобой взяли! — похвалился он. — Это дело без награды не оставят. За работу, Николаша, за работу!

По телеграфу потребовали данные паспорта Ефремова — для проверки; потребовали выслать его фотографию во все губернские жандармские управления для опознания; напомнили насчет подробного рапорта об обстоятельствах задержания; а взрывчатку — хотя она и считалась вещественным доказательством — Кирилов требовать не стал и приказал взорвать там, на месте.

За делами время прошло незаметно. И вот, наконец, пришла телеграмма: литерные поезда отошли от симферопольской платформы. Вот они миновали Харьков... Орел... Калугу...

Поздно вечером 19 ноября пришло сообщение, что царский поезд благополучно прибыл в первопрестольный град Москву.

— Ну вот, братец, отстояли мы вахту, — важно сказал Кирилов. — Можно пошабашить. В Москве государь пробудет денька два, а там за него местное управление отвечает. Иди баиньки, отсыпайся, отдохни, а потом с новыми силами за работу.

Но коллежский регистратор вдруг дрожащими пальцами пододвинул начальнику только что полученную телеграмму. Оказалось, что на подходе к самой Москве неизвестными лицами был взорван второй литерный поезд — свитский! Взрывом разнесло четвертый вагон с багажом — тот самый вагон, в котором должен был находиться император, если бы он ехал этим поездом, а не другим — первым.

— Перепутали поезда! — выдохиул обрадоваиный Кирилов. — Рука божья спасла государя!

«Нет, это рука Михайлова оплошала», — мелькиуло в голове у Клеточиикова. Но ои уловил удивленный взгляд начальиика и тут же, спохватившись, стал усилеиио осенять лоб и плечи широким крестиым знамением.

Что поделаешь, раз рука божья!

КИРИЛОВ НАЩУПЫВАЕТ НИТИ

Все русские и зарубежные газеты наперебой угощали читателей иовыми известиями о Московско-Курской железиой дороге. Подробно описывался сорокапятиметровый подкоп, проделаиный под полотио из малеиького домика, в котором проживали иекие «купцы Сухоруковы», излагались свидетельства очевидцев взрыва и прочие детали покушения.

Первые полосы иллюстрироваиных издаиий несколько дией занимали изображеиия исковеркаииого вагона и вскрытой миииой траншеи. В передовицах подчеркивалось, что преступиики перепутали поезда по божьей воле. Во всех церквах служили молебиы.

Однако Николай Васильевич чувствовал, что за этим помпезным ликоваиием, за официальиыми выражеииями радости по случаю «избавлеиия помазаиника» таится паиический страх иачальства перед могучей силой невидимого врага.

Нет, предержащие власти боялись ие только террористов, и опасались оии не только за царскую жизнь. Кирилов в разговоре со своим секретарем откровеиио призиавался ему:

— Ты бы видел пятнадцать лет иазад, когда покушение было в первый раз, что иа улицах тогда творилось. Люди валом валили иа молебиы, гими всюду

пели «Боже, царя...», каждый готов был глотку всем нигилистам перегрызть. «Это дворяне, — кричали они, — царя хотят убить, нашего заступника...» Вот так тогда было! Мы наготове день и ночь стояли, чтобы народ мстить за царя на дворян не кинулся да на образованных всяких. Вот с тех пор нигилисты и долбили свое помаленьку мастеровым да мужикам — то книжечкой, то листовкой, то покушением. И что же сейчас? Захожу я вчера в цирюльню — послушать разговоры — и вижу: двое мастеровых сидят с газетами, да не молодые, уже средних лет. Один говорит другому: «Сколько можно на царя охотиться! Ведь это не годится. Это беспорядок в государстве». Понимаешь, он не их, он нас ругает! А другой еще почище завернул: «Надо их, этих, которые с бомбами, вызвать через газету во дворец да спросить: «Чего вы, господа хорошие, от нас хотите?» Ведь они университеты кончали, образованные, не разбойники какие-нибудь, они даром-то убивать не будут. А неправды в матушке России много, ой как много». За пятнадцать лет вот как народ переменился! О чем же он еще через пятнадцать лет заговорит? Вот что по-настоящему опасно.

«А он неглуп», — еще раз мысленно отметил про себя Николай Васильевич. Однако не упустил случая сразу еще больше испортить настроение и без того невеселому Григорию Григорьевичу.

— Вот доклад заграничной агентуры, ваше превосходительство, вчера запрашивали...

Кирилов бегло проглядел вывод — «резюме» из толстого доклада, сделанный для него секретарем. Там сообщалось о резком падении политического авторитета правительства Александра II в Европе, о резком понижении курса русских ценных бумаг на чувствительных барометрах политической погоды — европейских биржах Опытные банкиры, говорилось далее в докладе, побаиваются наступления революции в самом ближайшем будущем и решительно настроены не давать больше денег взаймы царскому правительству. А без внешних займов — Кирилов это понимал — финансовое положение империи станет совсем

тяжким, и это, в свою очередь, приведет к новым внутренним обострениям.

— Грому-то от этого взрыва на весь мир, — мрачно прокомментировал доклад Григорий Григорьевич. — Недаром сегодня Александра Романовича Дрентельна и все начальство в Зимний вызывали...

Подлинное содержание беседы шефа жандармов с царем так и осталось для Клеточникова тайной. Однако в Третьем отделении сплетничали, что царь напомнил Дрентельну предсказание госпожи Ленорман. Знаменитая парижская гадалка на кофейной гуще некогда сообщила императору в Париже, что ему удастся дожить до восьмого покушения: если он переживет и восьмое, то будет здравствовать до глубокой старости. Придворные дамы наперебой подсчитывали число покушений: в 66-м году стрелял Каракозов, в 67-м — Березовский, в 79-м — Соловьев, и вот сейчас четвертое покушение! Да, у Дрентельна осталось всего три покушения в запасе. Не везет бедному генералу — сначала его самого чуть не застрелили, а теперь под угрозу поставлено то, что Дрентельну дороже самой жизни, — его придворная карьера. Кому нужен начальник службы безопасности, который не знает ни одной фамилии, ни одной явки, ни единого адреса заговорщиков и даже не может добиться опознания уже задержанных преступников! Поговаривали, что отставка Дрентельна почти решена.

Вернувшись из дворца, шеф жандармов собрал руководителей отделов, экспедиций Третьего отделения. «На божью волю больше не рассчитывать! — грозно предупредил он. — Или найдите концы — или головы долой! Свято место пусто не бывает, на ваши кресла, господа, найдутся более молодые и более способные люди».

Впервые за долгие годы службы действительный статский советник Кирилов почувствовал серьезную угрозу своему положению. Нет, нет, он в отставку не хочет! На старости лет, наконец, добился настоящей власти, влияния, а главное, большого жалованья — и так быстро лишиться всего этого!

— Ваше высокопревосходительство, — еле выговорил сразу постаревший Григорий Григорьевич, — есть неплохая новость. Полковник Новицкий из Киевского управления установил по фотографии личность задержанного Ефремова. Это сын киевского купца, некто Григорий Гольденберг, два года назад бежавший из холмогорской ссылки.

— Вот и расследуйте дело этого Ефремова-Гольденберга, — приказал шеф жандармов. — Займитесь им лично, это ваш последний шанс, Кирилов.

После совещания Кирилов засел за подробный рапорт майора Пальшау об обстоятельствах задержания Ефремова. С карандашом в руках он помечал на полях все непонятные обстоятельства, ставил знаки вопроса на полях, пытался определить линию следствия.

Ефремов приехал в Елисаветград из Одессы и привез оттуда чемодан со взрывчаткой. Неужели динамитная мастерская находится в Одессе? — удивился Кирилов и подчеркнул это место в докладе.

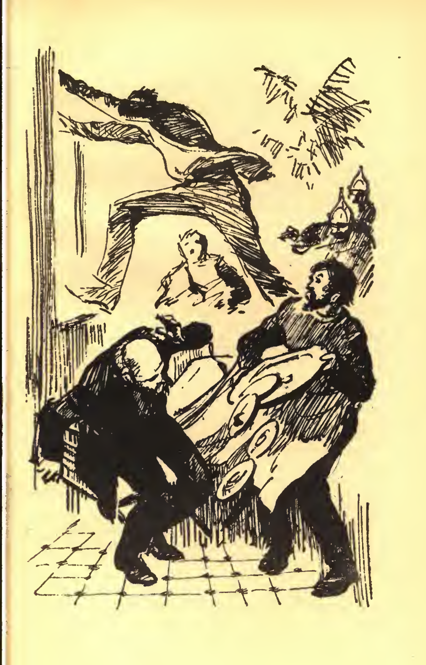
В Елисаветграде согласно докладу Ефремов собирался пересесть на курский поезд. Так-так... Достаточно было взглянуть на карту, чтобы понять — его путь лежал в Москву. Динамит, конечно, предназначался для подкопа из дома «купцов Сухоруковых».

В руках Кирилова — в том не было сомнения — находился ключ ко многим тайнам последних событий.

Но как им воспользоваться?

Гольденберг-Ефремов добровольно не заговорит — это ясно следовало из обстоятельств его задержания. Такие, как он, молчат даже под пытками. Кирилов снова и снова перечитывал рапорт майора, выискивая хоть какую-нибудь возможность подобрать отмычки к душе Ефремова. И — ничего не мог найти.

Задержали Ефремова благодаря принятым Кириловым предосторожностям. Елисаветградский весовщик багажа позвал вокзального жандарма и сообщил, что чемодан, прибывший с одесским поездом, подозрительно тяжел. «Был приказ следить за багажом...» В багажной комнате жандармы задержали пассажи-



ра, явившегося за чемоданом: «Что у вас там? Где ключи?» Пассажир растерялся, промямлил что-то насчет приятеля, которому якобы принадлежит чемодан и у которого якобы остались ключи. Это-то и показалось по-настоящему подозрительным!

Послали за майором, приступили к обыску. Сразу же удача — в боковом кармане пассажира обнаружили ключ от подозрительного чемодана. Увлеченные находкой жандармы на миг позабыли о задержанном, и он успел мелко-мелко разорвать какое-то письмо и записку. Сколько потом ни склеивали эти лоскутки в жандармском управлении, восстановить текст так и не удалось.

Пока жандармы примеряли ключи к чемодану, задержанный бросился через буфетную комнату на перрон. Прибежавший майор Пальшау застал своих жандармов в смятении. Сбежал, стервец! Майор отправил двух жандармов на извозчике — отрезать Ефремову дорогу в город, а третьего жандарма с весовщиком послал следом за беглецом...

Миновав пути, Ефремов, видимо, хотел скрыться в городе, но, увидав пролетку с жандармами, свернул в поле. Положение его было безнадежным: кругом ни одного знакомого, дороги неизвестны, паспорт и кошелек с деньгами отобраны при обыске, а погоня шла по пятам. Оставалось одно — продать свою свободу подороже!

— Стой! Ефремов, стой!

Усталые ноги с трудом несли человека, а безнадежность сковала все тело. Не уйти! И тогда он выхватил револьвер.

Со всех сторон на крики жандармов сбегались к нему люди: крестьяне, чиновники, гусары расквартированного неподалеку полка. Толпа, кольцом охватив загнанного Ефремова, боязливо подступала к нему. Нацеливая револьвер, он отгонял преследователей, но некоторые смельчаки подбирались все ближе и ближе.

Надо было стрелять...

«На допросе Ефремов заявил, что он не отстреливался потому, что, будучи окружен частными граж-

данами, не захотел стать виновником напрасных и лишних жертв среди ни в чем не повинных людей».

— Благородство изображает, — со злобой пробрюзжал Кирилов. — Вот и получил от «неповинных людей» по харе.

Озлобленная толпа била схваченного беглеца кулаками, палками, пинала под ребра сапогами.

«Но и после сего едва удалось шести человекам связать руки Ефремова и отвести его на вокзал, так был силен Ефремов и к тому же зол, даже кусался», — такими словами заканчивал майор Пальшау свой рапорт.

Сколько ни ломал Кирилов голову над этим рапортом, он не мог найти никаких серьезных зацепок, никаких реальных возможностей для следствия.

В картотеке Третьего отделения о Гольденберге тоже почти ничего не было сказано: сын либерального купца, все братья и сестры пребывают в настоящее время в ссылках, сам Григорий тоже сослан был за болтовню в студенческих кружках, но бежал — вот, собственно, все, что знала о нем полиция. Мало, чрезвычайно мало для разработки серьезного дела! С таким материалом лже-Ефремова заговорить не заставишь. Нечем.

Кирилов позвонил в колокольчик.

— Есть что-нибудь новенькое о Ефремове? — спросил он вошедшего Клеточникова.

— Так точно. В Елисаветграде был проездом генерал-адъютант Тотлебен и посетил Гольденберга-Ефремова в камере.

Кирилов вскочил с кресла. Генерал-губернатор юга России, прославленный герой Севастопольской обороны, приближенный императора — Тотлебен никак, никак не мог случайно зайти в камеру к этому мерзавцу...

— Он специально ездил в Елисаветград! — закричал шеф. — Материал крадет у нас из-под рук!

— Вы хотите сказать, ваше превосходительство... — изумленно произнес Клеточников.

— Да! Специально ездил в Елисаветград. Задумал что-то. Гольденберга нам теперь не выдаст.

— Но Гольденберг отказался с Тотлебеном разговаривать...

По лицу Кирилова было видно, что это не имеет никакого значения.

— Считайте, что это дело для нас потеряно, — мрачно прервал он разговор. — Рапорт Пальшау спишите в архив, — тут Кирилов надолго задумался, видно было, что он что-то вспоминает, решает. Наконец приказал безмолвно дожидавшемуся секретарю принести ему дело Чернышова...

Дворянин Чернышов и его невеста были недавно арестованы по случайному доносу. Некий солдат сообщил в канцелярию, что его знакомая читает запрещенные книжки. У девицы произвели обыск, нашли народовольческие листовки, и Кирилов пригрозил ей на допросе виселицей. Испуганная девица призналась, что листовки она получила от госпожи, в квартире Чернышова. Произвели обыск на квартире в Лештуковом переулке — и добыча превзошла самые смелые ожидания. Нашли массу литературы, пуд динамита, револьверы, шифрованные записки и непонятные чертежи. Вскоре выяснилось, что чернышовская «невеста» — это известная беглая каторжанка *. Но личность самого хозяина квартиры до последнего времени осталась неустановленной в Третьем отделении: он упорно отказывался от дачи показаний. Однако нюхом старой ищейки Кирилов чувствовал в нем одного из главарей подполья.

Теперь, просматривая следственные материалы, генерал обратил внимание на чертежи мнимого инженера Чернышова: изображено на них было нечто неуловимо ему знакомое. Где-то он видел эти комнаты, эти переходы?

Снова раздался звон колокольчика.

— Отправьте чертежи на экспертизу в Управление петербургского градоначальства, — распорядился шеф. — Ответ — побыстрее.

Обитая мягкой кожей дверь бесшумно закрылась за секретарем.

---

* Е. Н. Фигнер.

«Что бы еще сделать? — оставшись один, задумался Кирилов. — Значит, первое — на Гольденберге ставим крест. Тотлебен его не выпустит. Чернышов... Надо бы выждать результатов экспертизы: чую, в ней ключ к делу. Что же еще делать? Пожалуй, осталось одно — Палкина вызвать: зацепил на улице какого-то подозрительного. Может, хоть здесь выйдем на что-нибудь стоящее. Слабая ниточка, случайно как-то все, несолидно, да что делать, коли другого ничего нет. Эх, не везет нам в последнее время!..»

Кирилов взглянул на массивные часы с золоченым циферблатом, возвышавшиеся башней высотой в человеческий рост рядом с окном его кабинета. Да, пора! Наступало время встреч с агентами. Он стянул с себя вицмундир, аккуратно спрятал его в шкаф, накинул на плечи обычный сюртук, сверху — старое драповое пальто, нахлобучил на лоб потертую фетровую шляпу. Отодвинув декоративную портьеру с кистями, шеф агентуры нащупал за ней маленькую замочную скважину, вставил в нее ключ и незаметно выскользнул из кабинета через потайную дверь.

Встречая на улице этого маленького, наголо побритого, стремительного старичка, люди невольно уступали ему дорогу. Столько чувствовалось в нем важности и сознания собственной значительности.

Вот и дом на углу Фонтанки и Невского. Шеф полицейской агентуры уверенно вошел туда, чтобы выслушать очередные доносы и дать распоряжения о слежке. Здесь, в тишине, творилась так называемая «работа большой государственной важности».

ДВОРНИК, ПОРФИРИЙ И НАТАШИН БУНТ

Напрасно придворные сплетники, увлеченные гаданиями мадам Ленорман, подсчитывали, что 19 ноября царь избежал четвертого покушения и, следова-

тельно, в запасе у него имеются еще четыре попытки. На самом деле покушение 19 ноября было по счету не четвертым, а шестым, и суеверным придворным ждать последнего, восьмого, оставалось совсем недолго.

Где же произвели еще два покушения, о которых не подозревал сам царь, да и никто из российских обывателей?

Руководители «Народной воли» учли печальный опыт одиночных покушений Каракозова, Березовского и Соловьева. Малейшая неудача, случайный промах стрелка — и покушавшиеся попадали в петлю, а на страну обрушивалась новая волна свирепых и жестоких полицейских репрессий. Верховный орган партии — Распорядительная комиссия Исполнительного Комитета решила на этот раз охотиться за «медведем» наверняка. На железные дороги, ведущие с юга в столицу, выезжала не одна, а целых три группы минеров «Народной воли». Им была поставлена задача — перекрыть минными подкопами все пути, по которым царь мог возвращаться домой, и подстраховывать одна другую.

Одновременно с ними на юг выехала еще одна группа — наблюдателей за царским поездом во главе с Андреем Пресняковым.

Вскоре к одесскому вице-губернатору явилась на прием очаровательная и властная дама, явно из высшего общества, которая категорическим тоном потребовала назначить своего бедного туберкулезного дворника работать на свежем воздухе. Вице-губернатор не мог отказать такой обаятельной посетительнице, и Михайло — Фроленко вместе со своей фиктивной супругой — отважной помощницей Лебедевой (и будущей его сопроцессницей) получил место обходчика на Одесской железной дороге.

Однако Андрей Пресняков обнаружил литерные поезда не в Одессе, а в Симферополе. Стало ясно, что одесский подкоп не понадобится: царь почему-то изменил маршрут, он решил поехать другой дорогой. Главный техник партии Кибальчич вывез из Одессы половину динамита для группы Андрея Желябова, а

Григорий Гольденберг должен был доставить все остальное «купцам Сухоруковым» в Москву. Так спасся царь от первого покушения, даже не узнав об этом.

Вторая группа минеров работала на станции Александровск (нынешнее Запорожье). Здесь мину благополучно заложили под полотно железной дороги. Когда подошел царский поезд, Ванечка — Окладский крикнул Тарасу — Желябову: «Жарь!» Тот сомкнул концы электрического взрывателя, все замерли... И — ничего! Спокойно погромыхивая, прошли над миной вагоны с царем и свитой и удалились в утреннем тумане.

На следующую ночь минеры пробрались к насыпи; Ваня — Окладский нашел место обрыва шнура: видимо, шнур перерубила лопата обходчика, равнявшего насыпь к царскому приезду.

Так царь счастливо избежал второго покушения и тоже не узнал об этом.

У народовольцев оставался последний шанс. И под Москвой взрыв все-таки был произведен! Но опять неудача. Пресняков правильно сообщил о прибытии императорского поезда, наблюдательница, «купчиха Сухорукова» (Софья Перовская), вовремя подала сигнал к взрыву из придорожных кустов, замахав косыночкой.

Но тут произошло нечто непонятное. Динамитчик, которому поручили замкнуть взрыватель, впал в гипнотический сон. Остекленелыми глазами провожал он литерный поезд, благополучно миновавший опасное место. «Что ты наделал!» — закричал на него опомнившийся первым Михайлов. Тот и в самом деле будто проснулся: «Что же теперь будет!» Скорее с отчаянием, чем по расчету, Дворник приказал: «Рви второй поезд, не пропадать же мине!» И тогда взрыватель сомкнулся... *

* Так эти события описаны в воспоминаниях одного из виднейших членов Исполнительного Комитета, Льва Тихомирова. Существует, однако, и другая версия: народовольцы не смогли узнать точно, в каком поезде поедет царь, и поезд по ошибке взорвали свитский, а не царский.

Но и после этой троекратной неудачи народовольцы не пали духом. Они начали готовиться к грядущим боям.

Первые дни после покушения Михайлов не встречался с Клеточниковым: организационные дела целиком захватили его. Надо было готовить новое покушение, ликвидировать следы одесского и александровского подкопов, а главное, надо было срочно переправить за границу «купца Сухорукова» (Льва Гартмана), Поэта (Морозова) и его жену Ольгу — за ними по пятам гналась полиция. Из-под самого ее носа удалось выхватить и переправить во Францию отважных подпольщиков, участников московского подкопа.

Только покончив с этими делами, Михайлов смог всерьёз заняться непосредственной борьбой с филерами и секретными сотрудниками Третьего отделения. Он уже давно недоволен был тем, как используются сведения, добытые Клеточниковым.

Партия за последнее время необычайно расширилась: ее люди работали на многих заводах и фабриках, они проникли в армию, связались с флотскими экипажами; не было в России университетского города или промышленного центра, где бы не действовали группы народовольцев. И поэтому Михайлов считал, что оставлять революционную контрразведку в прежнем, кустарном виде, больше было невозможно: сведения о провокаторах и агентах слишком медленно доходили до всех ячеек организации, и слишком мало использовались они в ее практической деятельности. В мозгу великого организатора зародился план создания новой, широкой сети для борьбы с тайной полицией. Во главе ее он наметил поставить своего друга Александра Баранникова.

Оба Александра дружили с детства. Потом один из них, Михайлов, стал студентом-технологом, а другой, Баранников, — юнкером Павловского училища. Несколько лет назад мундир, фуражку и сапоги юнкера Баранникова полиция нашла на льду, около проруби, и тогда же записала «несчастного» в самоубийцы. А в подпольном мире с той поры появился

Иннокентий Кошурников, или товарищ Порфирий. Именно он принимал участие в казни шефа жандармов Мезенцева, именно он изготовил под руководством опытных техников динамит для покушения. Лучшую кандидатуру на трудную и очень ответственную должность начальника революционной разведки трудно было представить.

По приказу Михайлова Наташа послала Клеточникову открытку, что хочет его видеть, и в назначенный день на ее квартире появились оба — Дворник и Порфирий. Увидев Порфирия, Наташа расцвела. Он приходился ей родственником — был мужем старшей сестры Марии. Девушка затормошила, зацеловала зятя, забросала его вопросами о своей старшей сестре.

— Маришка в Москве, — радостно басил Баранников. — Вот он, злодей Дворник, нас разлучил. Тебе письмо прислала, из него все узнаешь.

Он протянул маленький конверт: Наташа ахнула, выхватила письмо из его рук, волнуясь, оторвала краешек письма вместе с конвертом, топнула ногой от злости на себя, сложила лоскуток с листком и погрузилась в чтение. Стало тихо. Несколько раз Наташа перечитывала маленькое письмо, потом неожиданно и совсем по-детски свесила голову на грудь и тоненько-тоненько всхлипнула. Михайлов предчувствовал это...

Между сестрами были сложные отношения. С детства завидовала Наташа своей любимой и ослепительно красивой Марии. Сестру всегда окружали самые умные, самые интересные люди их родного Орла. Умную, смелую Марию постепенно узнали подпольщики многих городов России, и за право считать ее членом своей организации соперничали лучшие тайные общества народников. Она была единственной женщиной, которую пригласили делегатом на учредительный съезд «Народной воли» в Липецк.

А теперь Мария сообщала сестре, что она вместе с товарищами действует в Москве.

«А как ты живешь, маленькая?» — спрашивала сестра Наталью.



Что могла ей сообщить Наташа! Что ничего не делает, что бесполезно теряет лучшие годы, прозябает в четырех стенах, сама не зная, зачем и кому это надо...

— Не могу больше... — плакала девушка, — не могу я больше так жить! Всегда одна, всегда одна. Как в тюрьме сижу, в одиночной камере. Все люди работают, рискуют, любят, борются, а я... За что меня так? Я с ума сойду, сойду с ума от одиночества, от тоски. О-о!

— Да что ты, Наташенька, милая! — кинулся утешать ее ошеломленный Порфирий.

— Целые дни одно и то же, одно и то же, — слабо отталкивала его Наташа. — Нигде не показывайся, ни с кем не знакомься, никого не встречай. «Наташенька, твоя главная и единственная задача — отвести все подозрения», — передразнила она Дворника. — Раз в неделю на глазах у соседей я выпроваживаю, целую жениха, которого не знаю даже по фамилии, и в этом вся моя подпольная работа. Уже скоро год, Саша! Целый год это длится! Год жизни!

— Но это очень важно! — подал голос Михайлов.

— А Мария живет как настоящий человек; — не слушала девушка. — Она действует! Я тоже человек, я хочу счастья. Совсем немного счастья. Пусть я умру, пусть меня сгноят, повесят, но в деле, а не как слепого крота, который сторожит подземную нору. Не знаю, что я сторожу, ничего не знаю...

«Извелась девица, — с болью подумал Михайлов. — Понять ее можно — отреклась от мира, пошла на подвиг, а ее посадили караулить пустую квартиру. А что делать? Заменить? Невозможно. И нежелательно даже объяснять ей смысл того, что происходит здесь, на квартире. Тайна, абсолютная тайна до сих пор спасала Клеточникова, а вместе с ним десятки наших людей. Девица даже не подозревает, что доверили ей. Самую ответственную партийную явку! А она, глупая, думает, что прозябает. Ну что с ней делать?! Как прекратить истерику? Уже Клеточников скоро придет. Ах, как нехорошо все сложилось...»

Он погладил ее косы, Баранников вытер платочком мокрые глаза — и всхлипывания стали тише. А когда в награду за хорошее поведение ей обещали скорую смену и участие в «охоте на русского медведя», девушка совсем успокоилась.

И как раз вовремя. Потому что раздался звонок, и в квартиру впустили «жениха». Слегка удивленный присутствием незнакомого человека, а еще более распухшими от слез глазами Наташи, он был молчалив даже более, чем обычно. Поудобнее усевшись на любимую кушетку, Николай Васильевич безмолвствовал, ожидая разрешения Дворника начать очередной доклад.

Наконец тот кивнул...

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРЕТЬЕГО ОТДЕЛЕНИЯ

Доклад не обошелся без упреков: Клеточников был недоволен долгим отсутствием Михайлова в Петербурге. Добытые им срочные данные довольно долго пролежали неиспользованными, и полиция кое-кого успела схватить. Михайлов представил Николаю Васильевичу Порфирия как нового связного Центра и обещал в дальнейшем никогда, ни при каких обстоятельствах не допускать долгих перерывов связи.

Совладав с дурным настроением, Николай Васильевич приступил к делу.

— В работе Третьего отделения, точнее в работе нашей агентуры, существует в настоящее время три направления. Первое связано с этим человеком...

Он достал из кармана черный кожаный бумажник и нетерпеливо извлек из него маленькую фотографическую карточку.

Аппарат запечатлел на ней молодого человека с несколько одутловатым лицом, на котором выделялись крупный, слегка удлиненный на конце нос и сужен-

ный кверху лоб. Небольшая квадратная бородка придавала лицу мужественное выражение, но странное впечатление оставляли глаза. Казалось, молодой человек однажды удивился, да так с тех пор и удивляется, вопрошая людей о чем-то сложном и непонятном.

— Гришка... — прошептал Дворник.

— Да, Григорий Гольденберг, — подтвердил Клеточников. — Его случайно арестовали на железной дороге, даже не зная, кого они задержали...

Об аресте Гольденберга Дворник уже знал — слышал от главного техника партии Кибальчича, возвратившегося с юга. И все-таки не мог привыкнуть к мысли, что милый, верный, смелый Гришка находится в тюрьме. По правде сказать, Гришка в свое время немало смущал Александра Михайлова своим беспредельным и тягостно-подобострастным обожанием. Но сейчас все это забылось, а помнились только мужество, удивительная чистота, доверчивость, трогательная наивность и верность революционному знамени. Все товарищи с нежностью вспоминали, как дерзко сумел Гришка бежать из холмогорской ссылки, как ликвидировал он палача южных революционеров князя Кропоткина, как гордо повторял товарищам, что вечер, когда он казнил этого царского сатрапа, был самым счастливым моментом в его жизни. Потом он спорил с Соловьевым за право стрелять в царя и, только подчиняясь решению друзей, уступил своему другу-сопернику.

— Его взяли случайно? — насторожился Михайлов.

— Абсолютно случайно.

— Где он сейчас?

— В Одесской тюрьме.

— Почему в Одесской?

Клеточников пожал плечами. Откуда он может знать, что придумали жандармы там, на юге? Возможно, в Одесской тюрьме Гольденбергу расставили ловушку. Все может быть...

— О Гольденберге сообщайте мне все, постоянно, а в экстренных случаях можете заходить даже в номер, — приказывает Дворник.

Клеточников склоияет голову в зиак согласия.

— А вот второе направлеиие в иашей·работе, — показывает он другую фотографию. — Это иекто господин Чериышов, тоже арестоваи случайио.

Михайлов уже зиает и об аресте Черiышова — все товарищи предупреждеиы, и все связи с квартирой обрублеиы своевремеино.

— У иего нашли чертежи. Оии послаиы на экспертизу в градоиачальство, — сообщает Клеточников.

Профессия Николая Васильевича приучила его иаблюдать мелочи: это стало привычкой, ие всегда удобиой в быту. Вот и сейчас ои сразу заметил, что Порфирий остался спокоеи, а пальцы Михайлова, иапротив, иервио забарабаиили по дрогиувшему колеиу. Вывод иапрашивался сам: чертежи храиили тайну, доступиую иемиогим даже в самом цеитре партии. Двориик о иих зиает, Порфирий — иет. Интересио...

— Еще что?

— Третье иаправлеиие в работе агеитуры — дело провалеииого архива паспортиого бюро...

Несколько дией иазад самому ловкому из филеров Кирилова, Палкиiу, удалось выследить на улице подозрительиого «нигилиста». Вскоре иа его квартире произвели обыск и иашли там склад печатей, копии докумеитов и прочее.

— Запишите, по каким фамилиям этого архива будет производить розыск Третье отделеиие, и иемедлеино помеияйте все паспорта, — спокойио сказал Клеточииков. — Начнем с Безмеиова...

Когда, продиктовав два десятка фамилий, ои ушел, провожаемый Натальей, Двориик обернулся к Порфирию. Бараииков все это время сидел молча, ио глаза его горели буйиым восторгом.

— Этот человек, Николай Клеточииков, стаиет твоим главиым помощииком в иовой работе, — обратился к нему Михайлов. — Завтра ты зайдешь в типографию и скажешь хозяйке, чтобы дала посмотреть тебе клееичатую тетрадь из своего комода: изучи и приступай! Распорядительиая комиссия выделит тебе Подбельского, Когана, Саблииа, Котика, Тычиииа, Сидореико. В общем человек пятнадцать. Пусть они

выследят всех шпионов по списку Клеточникова и установят за ними наблюдение. Нас интересуют их явки, связи, источники информации — все! С динамита тебя временно снимаем. Кибальчичу уже сообщили. Понятно?

Смуглый красавец удивительно легко поднялся на ноги, повернулся на каблуках и, не говоря ни слова, вышел в переднюю. Он поцеловал Наташу в щечку и взялся за ручку входной двери.

— Куда ты? — не выдержав, крикнул вдогонку Дворник.

— В Саперный переулок...

Дверь за Баранниковым закрылась. Ласковая улыбка появилась на губах Дворника: вот таков он всегда, этот молчаливый Саша Баранников. До завтра он ждать не будет! Группа контршпионажа начнет существовать с сегодняшнего дня: Саша уже приступил к работе.

КТО ТАКОЙ ГОСПОДИН ЛЫСЕНКО?

Саперный переулок — улица небойкая и населена почтенными людьми, чиновниками средней руки. Это не аристократический центр, но здесь достаточно спокойно, светло, хотя дома достигают пяти этажей, здесь близко от магазинов Невского и Литейного, и дамы любят селиться в Саперном переулке.

В сентябре 1879 года в дом номер десять по Саперному въехали новые жильцы — супруги Лысенко.

Отставной надворный советник Лысенко пришел сюда заранее, с друзьями, осмотрел сдаваемую трехкомнатную квартиру, разузнал о порядках в доме — проявил себя человеком солидным. Особенно обрадовался, что в доме нет квартирных хозяек с их бесчисленными квартирантами — студентами, молодежью и вообще крамольниками. Похвалил чистоту и

освещение в обоих ходах — парадном и черном; поинтересовался видом из окна. Увидав, что хотя окно квартиры выходит на глухую стену соседнего дома, но все-таки через забор видна улица, он прищелкнул пальцами и сказал: «Находка».

Через два дня супруги переехали.

Мебель была у них подержанная, но приличная: обычная мебель семьи среднего чиновника. При переезде хозяин все беспокоился за три тяжелых сундука, просил дворников тащить осторожнее. В награду дворники получили щедро на чай и с первого дня поняли, что господа приехали хорошие.

Супруга господина Лысенко оказалась женщиной молодой — милой, веселой и беззаботной крошкой. По хозяйству она не смыслила ничего, всем у нее ведала служанка, общительная и деловитая Аннушка.

Аннушка перезнакомилась со всеми дворниками, соседями, лавочниками, любила болтать, бранить господ за воротами. Лавочники задабривали девушку, а мясник даже подарил ей большую коробку монпансье, чтоб она брала мясо только у него. С тех пор каждое утро на квартиру к Лысенко бегал мальчик из мясной лавки с товарами.

Потом Аннушка ушла с места, а Лысенко взяли к себе Марию. Она была нервной, раздражительной, грубой, и дворники ее осуждали.

Супруги вели затворническую жизнь. Они никуда не ходили, а к ним ходило всего двое-трое друзей, правда частенько. Один — отставной поручик с модными усиками и шелковистой бородкой; другой — высокий, красивый, смуглый, с горящими глазами — напоминал выправкой военного, но одет был в штатское. Должно быть, тоже отставной.

Был еще и третий, но того, почитай, с ноября не видно было. Про него говорили, что это хозяйкин любовник.

Все это рассказал дворник сыщику из градоначальства, который поинтересовался Лысенками.

— А ты в квартире у них бывал?

— Обыкновенная квартира. Ну, кухня, стол, плита...

— А сама, сама квартира?

— Нашего брата дальше кухни не пущают. В гостиной, правда, бывал один раз. Сейчас вспомню... Портрет государя императора, изволите знать, большой. Под портретом — диван, в середине, значится, стол, полдюжины стульев, и все вязаными салфетками покрыто.

Сыщик пожал плечами и хотел было удалиться, когда дворник тронул его за рукав.

— А вон и сам господин Лысенко с моциёна идут. Хотите посмотреть?

По тротуару к дому важно шествовал барин. Природная независимость, в плоть и кровь въевшаяся аристократическая самоуверенность — все это придавало его походке ту особую сановитость, по которой без ошибок определялся родовитый русский дворянин. Великолепно сидела на нем шуба — нет, не роскошная, но достаточно заметная; а на носу блестело золотое пенсне.

Дворник машинально поклонился, да и сыщик невольно снял шляпу. Лысенко сурово кивнул им и, не глядя по сторонам, прошел к себе в подъезд.

Вернувшись в участок, сыщик рассказал приставу, что ничего подозрительного за Лысенко не обнаружил: обыкновенная чиновничья семья.

— А ты думал, динамитчиков найдешь? — насмешливо вздохнул тот. — Нет, братец, нам Третье отделение только мелкую работу оставляет, а сливки снимают себе.

В полиции нравы были простые, патриархальные, не то что в Третьем отделении. Секретов здесь особенно не хранили, сотрудников Третьего отделения весьма не любили, ругали их вовсю за важность, за непомерно высокое, по мнению полицейских, жалованье, за то, что перекупают они у градоначальства всех способных агентов. Вот почему пристав счел возможным доверительно рассказать сыщику о новой неудаче жандармов.

Недавно они захватили целый склад бланков, печатей и бумаг с официальными штампами. Самые важные бумаги Третье отделение забрало себе, про-

вело по ним розыск, но безуспешный: владельцы фальшивых паспортов уже успели сменить документы. А менее важные бумаги тайная полиция передала в Петербургское градоначальство. Ничего интересного там, конечно, не нашлось, и розыск проходил вяло.

Но все-таки...

Пристав показал сыщику смятый обрывок разлинованной от руки бумаги. Сыщик всмотрелся и от удивления вытянул губы: перед ним лежала копия с паспорта господина Лысенко.

— В мусорном ведре нашли, — пояснил пристав. — Навели справки — все в порядке, паспорт Лысенко настоящий. Лысенко есть Лысенко — это установлено, так что не думай бог знает чего. Но кому-то он дал скопировать свой паспорт, и эта копия послужила образцом, формой для изготовления фальшивых паспортов. На всякий случай, для очистки совести решено провести у этого Лысенко обыск, а заодно расспросить, кому он давал посмотреть свой паспорт.

У сыщика лицо стало безнадежно скучным: опять, видно, не спать ему ночью.

— Не ленись, не ленись, — нажал на него пристав. — Мы уж и так с ноября до января этот обыск оттягивали, больше ждать нельзя. Пора закончить дело с архивом. Возьми сегодня парочку полицейских часа на два ночи...

...В два часа ночи наряд полиции остановился в Саперном переулке. Все шло по заведенному порядку: двое дворников перекрыли черный ход, а наряд со старшим дворником прошел с парадного и позвонил в квартиру.

— Кто там? — спросил женский голос.

Сыщику показалось, что его кто-то разглядывает в узкое окошечко, выходившее на лестницу рядом с дверью.

— Телеграмма для господина Лысенко! — привычно отчеканил полицейский.

— Подите к черту! — неожиданно донеслось из-за двери. И все замолкло.

...Если бы знала полиция заранее, что сюда ни

при каких обстоятельствах не может прийти телеграмма...

Увидев полицию, Софья Иванова (госпожа Лысенко) кинулась будить всю «публику». Ей было всего девятнадцать лет, но за плечами у Софьи уже числилось два процесса и два побега из кемской ссылки. Хозяйка имела большой опыт по части обысков, она знала, что надо теперь делать: недаром именно этой тоненькой привлекательной женщине Михайлов и Квятковский доверили быть «хозяйкой Саперного переулка» — самого важного достояния партии — ее подпольной типографии.

Прежде всего женщина растолкала Николая Буха — господина Лысенко.

— Вставай! Полиция!

Лысенко мгновенно взлетел с дивана и сунул руку под подушку за револьвером. Потом он помог Софье отодвинуть от дверей, ведущих во внутреннюю комнату, сундук и кинулся в переднюю. Софья вбежала в «спальню». Посреди «спальни», в обычное время огражденной от случайных посетителей сундуками, возвышался на мягкой кушетке типографский станок. По углам комнаты стояли столы с типографским набором, а на полу, на толстых кипах бумаги, не раздеваясь, крепко спали два человека — наборщики конспиративной типографии, добровольные узники этой маленькой комнаты.

— Полиция!

Оба наборщика вскочили и бросились следом за Бухом в переднюю, где, не умолкая, звенел звонок и сбитый с толку сыщик все повторял: «Откройте, телеграмма!»

Софья осталась в типографской комнате одна. Что теперь делать, как поступить? Еще сегодня вечером, за чаем, их конспиративная «служанка» Маша весело расспрашивала Буха:

— А могут нас, женщин, повесить?

(Хотя у Николая паспорт был настоящий, а не фальшивый, паспорт покойника, господина Лысенко — все знали хорошо, что их хозяин вовсе не чиновник, а столбовой дворянин, племянник известного сенато-

ра. Законы Бух знал назубок и был своего рода юрисконсультом партии.)

Он солидно и с достоинством подумал, а потом ответил уверенно:

— Нет. Вешать женщин не будут. Это огромный скандал.

— В таком случае, — пошутила Софья, — мы, женщины, будем стрелять первыми, потому что мы вне опасности.

Тогда это казалось веселой шуткой. Но прошло всего три часа, и теперь действительно надо было стрелять! Стрелять первыми.

Конечно, можно было бы попробовать уйти по черной лестнице. Вряд ли их удержат дворники. Но... Во-первых, утром может явиться Михайлов — его никак не успеть предупредить. А во-вторых — это главное, — в комоде у нее есть бумаги, которые надо сжечь во что бы то ни стало. Даже ценой жизни! А для сожжения требуется время. Стало быть...

— Бух, вышибай стекла, — скомандовала Софья. — Все остальные — огонь по дверям.

Николай схватил типографский станок и с силой швырнул его в окно. Звон расколотого стекла, треск сломанной рамы слился с грохотом револьверного залпа. На площадке все моментально стихло: полицейские залегли на лестнице. Подтащив к окну наборные кассы, он стал яростно молотить ими по раме, пытаясь с остатками стекол выбить самый переплет. Михайлов должен увидеть выбитую раму! Почти каждое утро забегал он в типографию, приносил неведомо как добытые секретные протоколы полицейских обысков и с торжеством читал: «Издания партии — прекрасной работы, и эксперты считают установленным, что машины в ее типографии должны быть очень хороши». Завтра Дворник в последний раз увидит эти «машины», выброшенные через окно на мостовую: маленький примитивный станок и самодельные наборные кассы. Он сразу поймет, что случилось, и спокойно уйдет от опасного места.

Стрельба с лестницы тем временем начала усиливаться: к полиции подошло подкрепление.



Поднатужившись, Бух вывалил последние тяжелые кассы во двор и бросился с револьвером к черному ходу, откуда ломились новые наряды полиции. Выстрел, еще выстрел... Враги залегли и здесь.

Тем временем Софья Иванова сидела на корточках в маленькой боковой комнатке. Из нижнего ящика комода она вытаскивала бумаги, рвала их на куски и поджигала над большим умывальным тазом. Таз был наполнен водой. Только бы не осталось несгоревшего лоскутка! Из-за двери до нее доносились выстрелы, беготня, неистовые крики, грохот ломаемых запоров. Почему полиция еще не ворвалась?

Но вот последний лоскуток охватили языки огня — обожгло пальцы. Софья обеими руками выгребла из таза кучу размокших черных хлопьев, отжала воду и торопливо перебрала все содержимое: нет ли несгоревшего клочка. Потом бросила кучу обратно в таз, вытерла руки и достала со дна комода свой маленький дамский револьвер. Гибко приподнялась и тихонько подобралась к окну. На улице виднелись солдатские кивера — это вызванная полицией воинская часть оцепляла весь переулок. Возможность прорваться исключалась.

Тогда женщина пошла в переднюю. Здесь уже все заволокло пороховым дымом. Входная дверь пока держалась. По комнате растерянно метался один из наборщиков — Любкин, по прозвищу «Пташка», и почему-то стрелял в узкое окошко на лестницу, хотя полиция и жандармы накапливались явно не там, а около дверей.

— Пташка, береги патроны! — приказала ему женщина.

Услышав ее голос, наборщик пришел в себя.

— Ломают черный ход, берут нас с тыла. Надо отступить в гостиную, — распорядилась Софья. — Заряды пересчитать. Бить наверняка.

Отступление провели своевременно: ворвавшись в квартиру с двух сторон, полицейские задержались у входа в гостиную еще на полчаса. Одиночные выстрелы, доносившиеся оттуда, пугали многочисленную ватагу.

Но скоро смолкли последние выстрелы: видимо, у осажденных кончились патроны. Только тогда полицейские пустили в ход топоры, отбивая дверь от косяка.

— Вы что, закрыли ее? — спросила Софья у Буха, отступавшего последним.

— Все открыто, они со страху ломают, — объяснил «хозяин».

— Сдаемся! — крикнула в дверь «служанка» Грязнова, но в ответ донеслась только ругань, и топоры заколотили еще сильнее.

Под треск ломаемых дверных филенок Пташка стал спешно и возбужденно прощаться с товарищами.

Друзья торопливо и невнимательно пожимали его нервную горячую руку: дверь уже слетала с петель. «Еще успеем попрощаться в тюрьме!» Но вот отлетел косяк, с грохотом упала филенка, и разъяренная толпа полицейских ввалилась в комнату. Мгновение — и все защитники типографии были сбиты с ног, связаны по рукам и ногам. Потом их прикрутили к стульям, и около каждого встали, как изваяния, двое часовых.

Только теперь победители смогли оглядеться. Их было свыше двадцати, рослых силачей, а перед ними находились четыре человека, в том числе две девятнадцатилетние женщины. Неужели с *этими* им пришлось воевать почти три часа и вызывать еще на подмогу солдат?!

— Где-то прячутся остальные, — сообразил пристав и, скверно выругавшись, распорядился: — Пошли искать.

С гиканьем и бранью двинулись полицейские в типографскую комнату. Внезапно там все стихло, затем началась непонятная сутолока и донеслись приглушенные возгласы: «Доктора!», «Прокурора!»

Стискивая зубы, чтобы не застонать от врезавшихся в тело ремней, Софья Иванова перегнулась на стуле и заглянула в типографскую через полуоткрытую дверь.

Там, на полу, плавал в луже крови бедный Пташ-

ка. Последнюю пулю наборщик, не желая сдаваться, пустил себе в висок.

Вдруг полицейские заволновались, подтянулись, еще туже закрутили ремни на арестованных. И сразу в квартиру вошел важный старик в шинели на красной подкладке. Соня узнала его: господин Колышкин, начальник секретной части столичного градоначальства, главный конкурент Кирилова. Он лично явился посмотреть на разгромленную квартиру подпольщиков.

— Это она! — важно сказал Колышкин.

Да, это была она, неуловимая типография народовольцев.

— ...Кажется, градоначальство можно поздравить с большим успехом, — натянуто улыбаясь, говорил через день Клеточников Кирилову. — По нашим же материалам они сумели накрыть типографию «Народной воли». Обидно для нас, ваше превосходительство.

— Конечно, это некоторое достижение, — кисло прокомментировал шеф. — Но меня, например, куда больше интересует не то, что градоначальство захватило, а то, что оно упустило.

Он порылся в ящиках стола и достал из нижнего ящика обгоревшую и разбухшую от воды, но все-таки уцелевшую с одного края клеенчатую обложку общей тетради.

— Вся банда могла уйти, если бы не задержалась с уничтожением вот этой тетради, — строго сказал Кирилов. — А что в ней было — один бог теперь знает. Вот к чему приводит поспешность в операции, — он многозначительно показал пальцем на обложку. — Здесь тайна была. И тайна, может, поценнее самой типографии. Грубо, очень грубо провели операцию в градоначальстве. Я так и доложу шефу жандармов. Иди подготовь материалы в этом духе.

Секретарь кивнул и выскользнул из кабинета. Уже в дверях он не выдержал — оглянулся на остатки знакомой обложки. И вместо того чтобы направиться из кабинета к своему столу в делопроизводительской комнате, Клеточников пошел по коридору в тем-

ный угол, спрятался там за шкаф с делами и долго-долго сидел в одиночестве, держась ослабевшей рукой за сердце.

Ему тоже иногда хотелось побыть одному...

ОДЕССКАЯ МЫШЕЛОВКА

С декабря 1879 года в Петербург стали поступать с юга интересные донесения. Особенно много их пришло во вторую половину января, когда Третьему отделению сгоряча показалось, что планы разгрома «Народной воли» близки к осуществлению и ему предстоит сделать всего одно, последнее усилие.

Каждую телеграмму из Одессы читали глава агентурной экспедиции Кирилов, шеф жандармов генерал Дрентельн, император всероссийский Александр II и член Распорядительной комиссии «Народной воли» Михайлов — Дворник. Получать, расшифровывать и доставлять эти чрезвычайные сообщения было поручено Николаю Клеточникову: вот почему не позже чем через сутки после прибытия телеграмм они одновременно поступали на стол царя и к руководителю подполья.

Одесский прокурор доносил в столицу чрезвычайные сведения. У этого прокурора откровенно заговорил особо важный заключенный — Григорий Гольденберг.

Нет, Гольденберг никого, конечно, не предал прямо. Наоборот: гордо, непреклонно, холодно выслушивал он угрозы Тотлебена повесить, сгноить его, уничтожить, опозорить, согнуть в бараний рог. Арестант гордился «гробовым молчанием» на допросах и своим бесстрашием перед лицом всесильного генерал-губернатора. Где было ему, доверчивому человеку, догадаться, что эти угрозы — всего-навсего «ложный ход», отвлекающий внимание от расставленной ловушки. Недаром в Крымскую войну Тотлебена счита-

ли великим мастером хитроумных подкопов под неприступные позиции неприятеля: в деле полицейского сыска он тоже сумел найти необыкновенные ходы для того, чтобы добиться откровенности заключенного Гольденберга.

Вначале по приказу Тотлебена Гольденберга надежно изолировали от внешнего мира. Как правило, сношения арестантов с волей были довольно легкими: сказывалась продажность тюремной администрации. Получавшие грошовое жалованье надзиратели и караульные без всяких угрызений совести служили обычно по совместительству почтальонами революции за лишние два рубля в месяц, а то и дешевле. Но к Гольденбергу сумели подобрать таких надежных надзирателей, что тюремная стена наглухо отгородила его от всех товарищей, не только находившихся на воле, но даже и от тех его товарищей, кто находился в тюрьме.

Впрочем, не от всех. В камере Гольденберга поместили еще одного арестанта — подпольщика-южанина Федора Курицына.

Это был приятный собеседник для истосковавшегося в елисаветградской одиночке узника. С Курицыным связывало его много общего: всех друзей Гольденберга Курицын знал лично или понаслышке. Со своей стороны, Гольденберг еще на воле слышал о Курицыне: на него возлагал какие-то надежды Михайлов. Тюрьма и вообще легко сближает людей, а уж тем более она сблизила таких общительных по натуре соседей по камере, как Гольденберг и Курицын.

Очень скоро, однако, Гольденберг понял, что его сосед мало знает о целях и способах революционной борьбы. И тогда он решил использовать тюремный досуг для воспитания товарища: предложил прочитать курс лекций по истории и теории русской революции. Курицын с восторгом согласился поучиться у такого прославленного ветерана освободительной борьбы.

С этого дня жандармы аккуратно повели записи всех бесед Гольденберга. Григорий доверял товарищу по заключению безусловно: ведь Курицын был

взят по делу о покушении на предателя, выдавшего подпольную организацию, ему грозила смертная казнь. И Гриша, разумеется, не мог догадаться, что Курицын к покушению на предателя не имел ровно никакого отношения, взят был по этому делу случайно, по подозрению, а в тюрьме сделался злостным предателем и провокатором. Очень скоро благодаря наивной доверчивости Григория прокурор Одессы смог сообщить в Петербург все подробности московского подкопа, выяснить участие Гольденберга в этом подкопе и многое другое, о чем полиции вовсе не следовало бы знать. А главное, прокурор сообщил о существовании еще двух неизвестных подкопов на железной дороге, о которых правительство даже не подозревало.

Вначале Гриша, правда, остерегался называть фамилии товарищей. Но Курицын сумел повести игру удивительно ловко: он непрерывно подзадоривал соседа, притворно сомневался в его осведомленности и выуживал все новые и новые сведения, для полиции поистине бесценные.

Кирилов ликовал: из Одессы поступали одна телеграмма «шикарнее» другой! После болтовни Гольденберга с таинственного, недосягаемого, неуловимого Исполнительного Комитета наконец-то сорвали маску. Грозные террористы, которых так боялись в Петербурге, оказались всего-навсего молодыми людьми, давешними знакомыми прокуроров и жандармов и по «хождению в народ» и по процессу 193-х, по «южным процессам», сфотографированными на следствии, зарегистрированными в архивах, изведавшими не раз уже любезности тюремщиков и побывавшими в Сибири. Наконец-то полиции стало ясно, кого именно следует разыскивать! Из архивов постоянно извлекались новые документы и протоколы дел о ветеранах революционной борьбы. Упомянул Гольденберг о «гениальном Желябове», и прокурор Одессы сразу написал в очередном отношении, что этого самого Желябова он лично шесть лет назад препровождал на процесс 193-х. Фотографию его можно достать из архива и приступить к розыску. Затем зацепили по

указке Гольденберга еще одного подпольщнка — Златопольского. Был объявлен розыск.

Некоторое время спустя Гольденберг упомянул в беседе имя народовольца Зунделевича, «царя граннцы», заведующего транспортным бюро партнн. По секрету он рассказал Курнцыну, что именно с последним делился замыслом убить царя, а тот на секретном совещаннн посоветовал Грнгорию уступнть очередь Соловьеву, и тогда Соловьев сказал: «Александр Второй — мой».

И вот при выходе из Публнчной бнблиотекн в Петербурге переодетые агенты схватили одного из читателей. Заломнли ему руки, один нз шпнков быстро сверил лнцо задержанного с фотографней, зажатой в варежке.

— Он!

Так член Исполнительного Комнтета, старейшнй землеволец н народоволец, создатель «подземной дороги» через граннцу н первой в Россин действующей нелегальной тнпографни — Арон Зунделевич попал в руки полицнн. За то, что он помогал Соловьеву и Гольденбергу, за «знанне н недонесение о покушеннн» ему грознла смертная казнь.

И это был не последний арест. Предотвратнть их, казалось, не было возможностн. Взялн Андрея Преснякова (при аресте он застрелнл жандарма). Взялн его верного друга Ванечку Окладского. За участне в ноябрьском покушенин (об этом тоже узнали через Курицына) обонм грознла внселнца.

Волна арестов ширилась после каждой «лекцнн» Гольденберга Курнцыну. Грншку даже не вызывалн на допросы — только успевалн запнсывать показання соседа по камере. Наконец во второй половнне января Кнрнлов попробовал через Гольденберга выяснить лнчность таинственного арестанта Чернышова, которого никак не моглн опознать в Третьем отделенин. Курнцыну удалось с блеском выполннть и это заданне. Когда Грнгорий ответнл ему, что не знает никакого Чернышова, он разочарованно заметнл:

— А я думал, ты всех знаешь...

Самолюбивого Грнгория, как говорится, «заело».



— Меня взяли два месяца назад, откуда я могу зиать, кто теперь и по какому фальшивому паспорту живет? Какой он из себя-то, твой Чернышов?

Курицыи, которому прокурор показывал фотографию Черныщова, живо описал ему виешиость.

— Да это же Саша Квятковский, бывший руководитель группы «дезоргаиизаторов», а теперь члеи Распорядительной комиссии «Народиой воли», — догадался Гольдеиберг. — Один из тройки вождей партии. Постой, — спохватился ои, — а ты откуда его зиаешь?

— Видел когда-то.

— Разве он и раиьше иосил фамилию «Черны-шов»? — удивлеино задумался Григорий, и иеясное подозреиие заставило его побледиеть.

Но в тот деиь Курицыиа вызвали иа допрос, и больше в эту камеру он ие вериулся. Пребываиие в ией стало грозить агенту гибелью: Гришка, догадавшись о его роли, мог просто придушить шпиоиа. Курицына иградили полиым помилованием и отпустили иа все четыре стороиы*. А прокурор Одессы приготовился к иовому этапу следствия.

В Петербурге продолжали радоваться. Кирилов чувствовал себя помолодевшим на двадцать лет. В компании с любимцем мииистра, прокурором Плеве, ои готовил граидиозиый процесс — первый процесс «Народиой воли». Четыре члеиа Исполкома, большая группа типографских работииков, подпольиый паспортист и шестеро рядовых террористов — это была для него огромиая удача. Ах, этот золотой Гришка, он сделает Кирилова тайиым советииком! Если бы еще удалось уломать его и уговорить стать формальным свидетелем иа суде — вот получился бы эффект! Но пока об этом иельзя было и думать всерьез. Даже иа допросах Гольдеиберг продолжал молчать, как глухонемой, а уж что говорить о суде...

Одио малеиькое обстоятельство смущало Кирилова в эти счастливые январские дии, когда к нему

* Впоследствии он дослужнлся до полковннчьего чина, н, возможно, не без содействия департамента полнцнн.

потоком шла информация из Одессы. Будто специально для того, чтобы испортить настроение, чтобы напомнить о недремлющих «кротах» «Народной воли», несносный педант Николай Клеточников притащил запечатанное отношение главного архитектора города. Тот, наконец, дал ответ на запрос Третьего отделения о чертежах, обнаруженных у Квятковского.

Кирилов нацепил на нос так называемые «рабочие очки» в роговой оправе, разорвал конверт и заглянул в самый конец отношения. Там всегда излагалась суть дела: а до подробностей шеф не был охотник, оставляя их изучать секретарю.

Пробежав подчеркнутую строчку, он испуганно выронил бумагу из вспотевших рук и забормотал:

— Николай! Слышишь, а, готовь донесение министру двора. Необходимо обыскать Зимний. Срочно. Очень.

Он устало опустился в кресло, стиснул голову ладонями и шепнул:

— Страшно, Николай. Знаешь, что это?..

Чертежи, найденные при обыске, оказались наброском парадной столовой императора всероссийского Александра II.

Осмотр, конечно, произвели, и не один. Необычайно усилили охрану дворца. Но день проходил за днем, а ничего не случалось. И постепенно Кирилов позабыл за последними успехами о странных чертежах, найденных у Квятковского. Мало ли что могло заваляться у этого человека! Может, с его арестом все дело-то и кончилось.

Но Клеточников не забыл...

Он помнил и ждал.

И дождался.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ОТДЕЛЕНИЯ

5 февраля 1880 года, в четыре часа пополудни, на углу Невского и Адмиралтейской улицы встретились два человека.

Первым пришел интеллигент. Он глубоко нахлобучил на голову фетровую шляпу и отпустил такую пышную окладистую бороду веером, что даже близкие знакомые не сразу узнали бы в нем Тараса — Андрея Желябова, нового члена Распорядительной комиссии, назначенного туда взамен арестованного Александра Квятковского.

Тарас потянулся было в карман за часами, но как раз в это мгновение мимо него прошел странный мастеровой, спьяну, видно, выскочивший на улицу по-летнему, без пальто. Мастеровой безразличным тоном, без всякого выражения бросил Тарасу на ходу:

— Готово! — и тотчас грянул взрыв в Зимнем. В дворцовых окнах погас свет. Из пролома взрывом выбросило наружу обломки мебели, куски штукатурки, покореженную утварь...

— Убили!

Огромные массы народа начали стекаться со всех концов ко дворцу и следили за флагштоком, готовые снять шапки, как только флаг сползет вниз. Откуда-то пополз слух, что император убит, а вместе с ним убиты наследник, министры и охрана...

— Пойдем отсюда, — тронул за локоть мастерового Тарас. — Всё дома узнаем. Здесь нельзя — Халтурин, известен слишком многим. Слышишь, Степан, пойдем.

Когда они свернули на Невский, навстречу пронеслась хорошо знакомая петербуржцам карета шефа жандармов: Дрентельн в сопровождении своих помощников торопился во дворец.

До последнего мгновения генерал надеялся, что, может быть, это взорвались какие-нибудь трубы. Тщетно! Уже самый поверхностный осмотр подтвердил, что взрыв произведен динамитным зарядом. Центр взрыва предположительно находился в подвальчике, где жили дворцовые столяры. Динамит пробил потолок, разнес караульное помещение в первом этаже, проломил междуэтажное перекрытие и обрушил пол в царской столовой. В той самой столовой, план которой нашли жандармы у народовольца Квятковского.



Было убито одиннадцать гвардейцев охраны, пятьдесят шесть телохранителей царя получили тяжелые ранения.

Но слухи насчет гибели царя и его семьи оказались ложными: Александр II уцелел. Его спас случай. Обычно пунктуальный во всех дворцовых выходах и приемах, царь на этот раз заболтался с приезжим родственником, братом царицы — принцем гессенским, и опоздал к обеду. Говорили, что такое опоздание бывает не чаще чем раз в десять лет; но на этот раз оно послужило спасению «августейшей семьи» от гибели.

По приказу шефа жандармов все выходы из дворца были немедленно перекрыты. Обитателей Зимнего проверили поименно. На месте оказались все, кроме столяра Степана Батышкова.

Может быть, он погиб при взрыве?

— Нет, Степан дома не был, — уверенно заявил следователю пожилой мастер-краснодеревщик. — В тот час мы как раз евонный день рождения в трактире обмывали. И жандарм наш тоже со Степаном пил. Куда он делся, Степан? А в аккурат за полчаса до взрыва упился и, как был, без пальто попер на улицу. Мы у него еще кошелек прибрали, чтоб с деньгами не улизнул: взялся угощать — так угощай. Что, ваше благородие? Нет, особого за им ничего не заметно было. Смирный парнишка. Деревня-матушка, совсем смурной такой. Все, бывало, чесал в затылке, как мы калякать начнем. Куды делся? А сиганул, ваше благородие, по пьяному делу. Со страху спрятался. Шутка сказать — такой взрыв во дворце.

Узнав об этом, шеф жандармов распорядился немедленно отпечатать две тысячи фотографий Батышкова и с одной из этих карточек явился к Александру. Но, едва взглянув на императора, Дрентельн почувствовал: распоряжение о фотокарточках, пожалуй, оказалось последним его приказом по жандармскому ведомству.

Худое, тонкое лицо глянуло на Александра II с маленькой фотографии, переданной шефом жандармов.

— Помню его, — вздохнул царь. — Часто лакировал мебель в моем кабинете. Красивый, видный мужик, гибкий — я думал, кавказец, — только усмехнулся Александр. — Мог спокойно зарубить меня обыкновенным топориком в моем собственном кабинете. Так вы собираетесь найти этого Батышкова, генерал? Боюсь, что после семи покушений я не могу по-прежнему доверять моему Третьему отделению. Ведь если верить мадам Ленорман, — нашел в себе силы пошутить он, — после очередной вашей ошибки мне при любом исходе уже не понадобятся ваши услуги. Попробуем придумать что-нибудь новенькое, а, генерал?

Низко согнувшись, Дрентельн удалился — на этот раз в отставку.

Через несколько дней было официально объявлено, что Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии будет упразднено. Упразднялась и должность шефа жандармов. Вместе с ним были удалены со службы высшие руководители тайной политической полиции жандармерии.

Все бразды правления царь вручил отныне Верховной распорядительной комиссии. Во главе ее встал «бархатный диктатор» — новый царский фаворит, министр внутренних дел граф Лорис-Меликов. Ему доверили ликвидировать «Народную волю» любым путем и дали для этого все полномочия.

Первым делом вместо Третьего отделения Лорис создал в министерстве внутренних дел департамент государственной полиции. В него — с прежними правами и функциями — целиком вошла и агентурная экспедиция господина Кирилова. На прежней должности помощника делопроизводителя остался там и Клеточников. Благодаря перестановкам и увольнениям в департаменте его влияние в секретной части значительно выросло.

Новую вывеску установили с большим шумом. Газеты писали, что в органы сыска, наконец, пришли новые люди, и теперь все-все будет по-другому. Но в это уже вряд ли кто верил.

ТАИНСТВЕННЫЙ УЗНИК

Тринадцатого апреля на платформу Николаевского вокзала в Петербурге вывели из вагона арестанта особой государственной важности.

Его руки и ноги были скованы кандалами. Одиннадцать вооруженных до зубов жандармов охраняли этого человека. На станции его встречали прокурор Петербургской судебной палаты Плеве и начальник агентурной экспедиции Кирилов. Пассажира быстро втолкнули в черную карету и повезли по Невскому в главную государственную тюрьму — Петропавловскую крепость.

Таинственным, особо охраняемым, привилегированным узником на этот раз был Григорий Гольденберг.

К нему приходили в камеру разные чиновники — в мундирах и в штатском. А однажды смотритель подвел к этой камере юношу, ради которого рискнул нарушить инструкцию, — привел сюда своего любимца-сына, восемнадцатилетнего кадета, просившего показать ему важного узника. Комендант ни в чем не отказывал сыну — пусть поглядит, коли хочет.

— Ну, каков? — шепотом спросил отец, когда они на цыпочках отошли от глазка.

— Знаешь, папа, у него странное лицо для заключенного. Лицо счастливого человека, — удивленно протянул юноша.

— Тсс... ты! — отец наклонился к самому уху кадета и едва слышно вымолвил: — Вчера сюда приходил сам Лорис.

— Не может быть!

— Теперь ты понял?

Юноша кивнул: чего ж не понять? Вице-император всероссийский, как звали в обществе Лорис-Меликова, вряд ли пришел сюда просто познакомиться с купеческим сынком, ставшим государственным преступником. Нет, тут что-то не так...

— Папа, а можно, я еще раз взгляну на него? Ты иди, а я посмотрю и догоню, ладно?

Юнкер снова приник к глазку. Да, на кровати лежал, мечтательно улыбаясь, действительно счастливый человек — один из самых счастливых людей в России. В эту минуту он не замечал ни решеток на окнах, ни глазка в дверях — он видел в мечтах, как он спасает Россию, всех товарищей и русскую революцию.

Когда это впервые началось?

Гольденберг вспомнил первый допрос после исчезновения из камеры Курицына. Он растерялся на допросе. Следствию оказалось известно слишком многое: и о покушении на Кропоткина и о московском подкопе. Неужели его страшная догадка была верна? Неужели Курицын оказался «подсадкой», полицейским провокатором?

— Мы все знаем, — дружески уговаривал его прокурор. — Запираться — это ваше право, но ваши товарищи, как видите, не были так молчаливы.

— Кто именно?

— Квятковский, Зунделевич, Бух...

Он вначале отказался отвечать на вопросы. Его увели обратно и не тревожили две недели: дали свыкнуться с новым положением.

Через две недели диалог с прокурором возобновился. Проговариваясь на каверзных вопросах, запутываясь в ловушках, он проиграл этот поединок и сделал первое признание об убийстве генерал-губернатора Кропоткина.

Он солгал тогда следствию, всю вину взял на себя, надеясь выгородить своих помощников в этом деле. А в конце показания — просто так, ради красного словца — призвал правительство прекратить братоубийственную войну и дать стране реформы.

И — о чудо, настоящее чудо! К его предложению отнеслись всерьез! Прокурор сразу прекратил вызовы на допросы. А потом сам пришел в камеру и по-товарищески раскрыл заключенному свою душу.

Оказывается, министерство внутренних дел само поняло правоту революционеров. Граф Лорис-Меликов подготовил проект конституции и выжидал только удобного момента для представления его царю. Ко-

нечно — не скрывал прокурор — конституция намечалась скромная, но ведь лиха беда — начало. И во Франции все началось с королевского указа о Генеральных штатах! Россия стояла на пороге новой эры. Но тут... Лицо прокурора исказилось болью... Тут неосведомленные народовольцы перешли к динамиту. И тогда-то при дворе верх взяла партия мракобесов: начались казни, было объявлено чрезвычайное положение: массовые обыски, административные ссылки — весь этот российский кошмар!

— Вы поймите трагизм нашего положения, — вкрадчиво объяснял прокурор. — Мы по-своему, но тоже искренне любим Россию. Мы хотим ей блага, которое понимаем на свой лад. И это благо, поверьте, не так сильно отличается от вашего. Ведь мы не старые, николаевские палачи-жандармы, мы новое поколение, мы ваши сверстники, воспитанные в духе законности и уважения прав простого человека. Такова наша суть. А на практике? Поступать мы вынуждены как мерзавцы, как палачи: вы, революционеры, своими бомбами вынуждаете нас к этому. Мы ненавидим безнравственность — и мы же плодим провокаторов. А что делать? Мы хотим конституции, а должны держать страну на военном положении. Добро бы хоть вы чего-нибудь добились! Так ведь нет, никогда в истории террором ничего не добивались. Вы обречены, вас всех повесят, а вместе с вами мы своими руками схороним идеалы нашей юности и мечты о благе России. Вот где настоящая трагедия! У слуг закона, а не у революционеров!

Он не спросил ни слова о делах подполья, только упрекал да просил сочувствия и совета. И наивный Гольденберг, своими руками казнивший царских сатрапов, пожалел этого несчастного, запутавшегося в противоречиях человека. Но что посоветовать ему? Что делать? Как спасти Россию и вывести ее из бессмысленной братоубийственной войны жандармов и революционеров? Пять недель они вдвоем с прокурором искали выход, как спасти народовольцев от казни и добиться для страны конституции.

Григорию казалось, что он сойдет с ума, когда

вдруг (не без помощи его нового товарища — прокурора) ему пришла в голову гениальная мысль.

Это же просто! Он возьмет и расскажет все, что знает об организации. А знает он немало — все-таки участник Липецкого съезда, и как делегат этого съезда — член Исполнительного Комитета. После его признаний товарищи будут спасены от ужасов убийств, отделаются всего-навсего ссылкой, а там — с введением конституции — и вовсе попадут под амнистию. Не будет больше ни взрывов, ни виселиц — он, Григорий, все это прекратит. У либералов из министерства внутренних дел будут развязаны руки для проведения конституции. Для родины он пожертвует большим, чем жизнь, — от отдаст в залог жандармам нечто большее — честь революционера. Это высшее, на что способен человек!

В глубинах души — в самых хитрых тайниках — Григорий сознавал, что чуточку обманывает полицию. Ведь друг-прокурор не скрывал, что Курицын был подосланным предателем. И Григорий понимал, что, может быть, не решился бы на свой смелый план, если б уже самое главное не рассказал Курицыну. А теперь он может открыть полиции сравнительно немного нового по сравнению с тем, что уже выболтал Курицыну. Но зато — в обмен на признание — он потребует несравненно большего — конституции для страны и спасения для заблуждающихся товарищей. А власти в надежде получить от него много нового, возьмут да и клюнут на эту приманку!

Григория, правда, несколько смущала необходимость быть «дипломатом», но — цель оправдывает средства, решил он. И рассказал о своем замысле другу-прокурору.

Тот выслушал его с каменным лицом, задумался.

— Не могу не признать логики в ваших рассуждениях, — сказал он. — Вы действительно спасете обреченных на гибель товарищей и много блага принесете родине. Но себя вы откровенностью не спасете: за участие в подкопе вам и нескольким другим будет грозить смертная казнь. Взвесьте все, чтобы потом не каяться.

Как обрадовался Григорий! Он чуть не задушил прокурора в объятиях. Значит, его правильно поняли! Он не изменник, не предатель, его услуг не покупают — ведь его тоже обещают повесить! И в тот день он дал первое из своих откровенных показаний...

Ах, как жаль, что его друзья не знают, как просто, как гениально просто можно послужить родине! Если бы он мог им это объяснить, все встали бы на его путь, он уверен.

Вчера у него в камере был министр Лорис-Меликов и подтвердил все то, о чем прежде говорил прокурор. Готовится конституция, помилованы и Сабуров — Оболешев и Ольга Натансон — Генеральша *.

Григорий даже зажмурился от удовольствия. Министр обещал, что если он выступит свидетелем на процессе и объяснит товарищам, как неправильно их поведение и как правильно поведение его самого, то принятие конституции можно считать обеспеченным. «Будет вам конституционный рай!» — сказал министр.

— Гришка...

Тихий, едва слышный шепот донесся со стороны дверного глазка.

— Гришка, а Гришка...

Узник испуганно приподнялся на кровати: вот уже полгода его никто так не называл.

— Я от Дворника,— говорил неизвестный за дверью.— Исполнительный Комитет считает тебя злостным предателем. Выводы делай сам. Все!

С грохотом захлопнулась задвижка на глазке.

Когда через несколько минут в эту камеру заглянул коридорный надзиратель, он увидал ничком лежащего Гольденберга. Услышав щелканье задвижки, заключенный медленно повернул к дверям голову, и

* Оба помилованных умерли в том же году: Сабуров — Оболешев в крепости, Ольга Натансон через две недели после выхода из тюрьмы.



тюремщик невольно отпрянул. На долгие годы потом врезался ему в память этот череп, обтянутый неестественно белой кожей, эти провалившиеся в орбиты глаза — лицо человека, ставшего в один миг живым трупом.

А вдали по коридору мелькнула тень. Это догонял смотрителя его сын, кадет. Уже полгода кадет носил почетное звание агента Исполнительного Комитета.

КАЗНЬ В ГОСУДАРЕВОЙ ТЮРЬМЕ

Содержание всех показаний Гольденберга почти сразу становились известным Исполнительному Комитету «Народной воли»: на то у комитета был Клеточников.

Пока Гольденберг воображал, что спасает друзей, выдавая их, все названные в его показаниях лица принимали чрезвычайные меры для избежания опасности. Иногда это удавалось, иногда нет.

По всей России менялись фальшивые паспорта и явки, Александр Михайлов спешно гримировал товарищей (в этом деле он считался мастером). На некоторое время деятельность «Народной воли» была парализована единственным стремлением — преодолеть последствия невольного предательства одураченного Гришки.

С неохотой согласился Михайлов на предложение Распорядительной комиссии — рискнуть агентом-кадетом Богородицким и передать с ним в крепость приговор Гольденбергу. Кто его знает, как будет себя вести этот спятивший в застенках дурак! Вдруг и Богородицкого...

Но проходили дни, а Богородицкий оставался на свободе. Вместо этого пришло сообщение от Клеточникова: Гольденберг подал на имя министра внутренних дел прошение не делать ему никаких снис-

хождений на предстоящем процессе и обязательно повесить рядом с друзьями.

— Гордый! Пренебрегает платой за услуги,— сердито буркнул Дворник. Но внутренне смягчился: все-таки злостным предателем Гришка не стал.

А Гришка предпринимал отчаянные усилия, чтобы связаться с товарищами и объяснить мотивы своего поведения. Он разбрасывал на тюремном дворике записки во время прогулки, накалывал буквы в евангелии из крепостной библиотеки. Содержание всех его посланий было примерно одинаковым: друзья, не клеймите, не презирайте меня, я трижды жертвовал жизнью, а сейчас пожертвовал и честью. Верьте, что я все тот же, ваш честный и верный Гришка.

Нет, он не хотел уйти в могилу с клеймом предателя! Надо все объяснить, и они поймут, они сами последуют его примеру... Но связаться никак не удалось. Все записки и евангелие были перехвачены надзирателями: об этом сказал ему смотритель. Гольденберг, разумеется, не знал, что каждое его слово передается Клеточниковым прямо в Распорядительную комиссию. Отчаявшись, он решил испробовать последнее средство: попросил у петербургского прокурора Плеве свидания с заключенным Зунделевичем. Он уверял, что сумеет убедить Зунделевича пойти по пути примирения с властью.

Любимец министра Лорис-Меликова, Плеве к тому времени надзирал за всеми делами, имевшими отношение к «Народной воле». Это был хитрый, проницательный и склонный к авантюре чиновник. Ему захотелось испробовать эксперимент, предложенный Гольденбергом. В конце концов риск невелик: Гольденбергу уже некуда деться. А предложение «разговорить» самого Зунделевича, «царя границы», знаменитейшего из подпольщиков, открывало такие безграничные возможности, что Плеве даже мечтать об этом побаивался.

Он разрешил неслыханную в крепости вещь — свидание двух заключенных в комнате следователей. Игра была крупная, и свеч она стоила!

Но Плеве не знал, что всем заключенным, чьи

фамилии упоминал Гольденберг, были тайно переправлены в камеры копии с его показаний. Подсудимые готовились к процессу во всеоружии секретных сведений обвинения. И Зунделевич ко дню свидания уже знал, что сказал, что мог сказать и что должен был сделать его бывший друг. Об этом позаботились Клеточников, Михайлов и кадет Богородицкий...

Несколько дней после свидания Гольденберг что-то торопливо писал. А на конспиративных квартирах ждали результатов этого разговора, который должен был открыть Гришке глаза. Результаты стали известны шестнадцатого июня.

— Сегодня в полиции траур,— сообщил, наконец, Клеточников.— Вчера в час дня в Трубецком бастионе на полотенце, привязанном к крану рукомойника, повесился государственный преступник Григорий Гольденберг.

— Он правильно понял приговор партии,— сурово произнес Михайлов.

— После Гольденберга осталась рукопись «Ко всем честным людям мира», где он описывает историю своего падения и невольного предательства.



— Хватит об этом жалком предателе. Казнь совершилась! Стены крепости не сумели сохранить жандармам их свидетеля. И не будем больше о нем говорить: пусть разбирается история.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ПРОВАЛ





ОДИН ИЗ ПЯТИ

Он сидел в камере смертников Трубецкого бастиона.

Утром его должны были повесить рядом с четырьмя товарищами на соседней куртине. А пока тянулась последняя в жизни ночь.

За плечами у смертника — двадцать шесть лет. Из них десять он отдал революции.

Еще шестнадцатилетним подростком, учеником кораблестроительной мастерской, он ходил на политические сходки. Ему довелось за последние десять лет бороться рука об руку с лучшими людьми движения.

Он знал великого агитатора своей эпохи — князя *,

---

* Князь Петр Кропоткнн (двоюродный брат убнтого в Харькове царского любимца, генерал-губернатора Кропоткина) был крупнейшнм деятелем «подпольной Россни» начала семндесятых годов, однмм нз вожаков «Большого общества пропаганды». Впоследствнн лидер международного анархизма.

имя которого шепотом произносили в цехах. Немного их осталось, тех, кто помнит князя.

Первыми его воспитателями были революционеры брат и сестра Ивановские. Потом, через несколько лет, он тоже у них останавливался, лечился, отдыхал, тогда он уже стал террористом.

Было в его жизни такое. В динамитной мастерской жандармы захватили четырех человек. Одного повесили, двое пошли в бессрочную каторгу. И только он один сумел спастись: вырвался из рук жандармов и выпрыгнул из окна на глазах у целой толпы.

Этот удачный побег вызвал к нему доверие: его привлекли к покушению под Александровском. Там он водил за руки товарища Тараса — Андрея Желябова, страдавшего куриной слепотой, к насыпи, где Тарас на ощупь рыл подкоп и подводил провода взрывателя. Втроем они лежали в овраге, прислушиваясь к шагам обходчика, — Тарас, Тихонов и он. Завтра он закачается в петле рядом с Тихоновым.

Уцелел Тарас. Где-то он теперь?

Холодные, темные ночи стояли тогда под Александровском. Снег перемежался с дождем. Потоки ледяной воды грозили обнажить провода. Втроем они мерзли, блуждали в темноте, не находя от усталости дороги. Главный техник партии Кибальчич приехал ревизовать их работу. Он не нашел ни одной ошибки. Как они тогда гордились этим!

Тарас говорил: «Мы здесь, в этой группе, все из рабочих или крестьян. Царь должен погибнуть от руки трудового народа».

А потом — неудача. Несколько дней они лежали больные от нервного переутомления. И снова, той же группой, стали готовить новое покушение.

И вдруг — арест. Взяли их двоих. Тарас уцелел.

На суде они держались с честью. В последнем слове он заявил, что сочтет любое помилование оскорблением для себя... Но помилования не было. И вот теперь пятеро смертников — Саша Квятковский, Андрей Пресняков, Степан Ширяев, Василий Тихонов и он — ожидают утра казни.

Он один в камере. Рядом нет товарищей, любивших

его, своего рабочего пария. Он вырос среди явок, среди динамита, типографий, он провел всю свою короткую жизнь среди будущих смертников и бессрочных каторжан. И вот, наконец, остался один на один с собственной совестью — он смертник!

Жизнь кончена.

Ему стало страшно. Невыносимо страшно.

Впервые за десять лет он подумал, что, в сущности, не знает, за что боролся. Никогда не учился — не хватало времени, да и желания особого не было. Редко читал — не любил этого. За него учились, думали, читали другие, и он доверял их уму и знаниям. Он шел за ними, как солдат идет за своими командирами. А сейчас за доверие требовалось заплатить, самую высокую цену — жизнь. Не всякий оказывался на это способным.

Он не спорил — он прожил жизнь хорошо. Именно так, как мечтал ее прожить: с опасностями, в борьбе с врагом, все время играя со смертью. Но вот теперь пришлось умирать, а он впервые задумался: за что? Товарищи это знали, а он — как оказалось — нет. Не знал. Все выглядело неясным, туманным и, по правде говоря, неважным. Для него лично — не слишком важным. Хорошо, что об этом никто из них никогда не догадывался и, наверно, уже не догадается.

Кой черт все-таки угораздило его дерзить судьям! Ведь у него имелись шансы выжить: он участвовал всего в одном покушении, а все остальные — в трех или в четырех. В такой компании он мог бы свободно получить Сибирь, если бы не бахвалился насчет оскорбительности помилования. А теперь — поздно. Теперь — смерть.

Но ведь это же несправедливо. Те — три раза виноваты, а он — всего один. Это должен кто-то понять.

...Идут по коридору. Священник? Обострившиеся в тюрьме внимание и слух напряглись. Нет, топают по-военному. Помилование?! Или — пора? Сейчас? Ночью?

Ему захотелось закричать.

Дверь камеры отворилась. Вошел дородный светлоусый мужчина в генеральском мундире и уже с порога ободряюще улыбнулся заключенному. Тот удивился: начальник петербургской жандармерии у него в гостях?

Несколько секунд они разглядывали друг друга. Опытным глазом ловец человеческих душ сразу заметил ужас и растерянность стоявшего перед ним смертника. Какая удача!.. Не одну вот такую неокрепшую душу сначала прощупала, а потом и сломала его сильная рука в белой форменной перчатке. Не один человек после «душеспасительной» беседы с ним бился головой о решетку, пытался повеситься на рубашке. О, ему известно искусство доводить чувство смертного страха до предательства.

Жестом генерал предложил арестанту сесть. Кажется, прав был Плеве. Ох, и орлиный взгляд у прокурора!

«Сходите, ваше превосходительство, к этому... как его, который презирает помилование, — чуть усмехаясь в надушенные пушистые усы, предложил он утром генералу. — Сдается мне, что этот недоросль от революции, этот нищий духом любитель авантюр может нам пригодиться».

Генерал тогда выразил сомнение: уж больно дерзко держал себя субъект на суде. «Сходите, сходите,— уговаривал Плеве, а ведь мог — именем министра! — просто приказать. — С вашим опытом нельзя не добиться успеха». Нет, недаром говорят, что вопрос о назначении Плеве директором государственной полиции уже предрешен. И он стоит этого, стоит.

Но пора приступить к делу.

— Велика милость его величества, — журчит жандармский голос, — безгранична, как милость божия. Раскаяньем истинным все пятеро смертников могут добиться спасения своей жизни. А вы, молодой человек, особенно, да-да, особенно. Ну зачем вам умирать, полному жизни?

Он сам не ожидал столь быстрого эффекта.

— Помилование всем не может быть. Вы говорите неправду, — рубит слова смертник. — Император ни-


9

когда, никогда не простит Квятковского: тот четыре раза на него покушался. Ширяев — три раза. А я — всего один.

— А вы очень смышленый человек, — удивляется генерал. — Вас не проведешь. Действительно, их помиловать невозможно. Но вы, конечно, не столь виновны. Нет, вас помиловать можно, если, конечно, вы сами пойдете правосудию навстречу.

А в это самое время, в эти самые ночные часы телеграфист отстукивал правительственную телеграмму в Крым. В голове Лорис-Меликова сложился хитроумный план. Ведь народовольцы поклялись уничтожить царя за гибель товарищей — так пусть царь помилует смертников. Живыми из равелина все равно они не выйдут, оттуда никто живым не выходил! Но зато какой будет эффект от царской милости! Пусть-ка потом террористы попробуют назвать царя главным палачом и требовать казни человека, даровавшего жизнь тем, кто мог стать его убийцами! Расчет министра был точен. Лорис выиграет время, обеспечит хотя бы недолгий перерыв в цепи покушений, а за это время успеет разгромить подполье. Недаром графа прозвали «лисий хвост и волчья пасть»: помилованием смертников он надеялся выкупить у революции голову царя.

Но слишком сильны были при дворе противоборствующие влияния. Наследник престола, бывший шефом лейб-гвардии, требовал голову организатора взрыва в Зимнем, Александра Квятковского: ведь там погибли его гвардейцы. А полиция настаивала на казни Андрея Преснякова — ведь он истребил ее лучших агентов. И вот наутро колеблющийся и нерешительный, измученный бессонницей царь наложил резолюцию: «Помиловать всех, исключая Преснякова и Квятковского». Он думал, что удовлетворил всех. Он не знал, что, казнив Преснякова и Квятковского, подписал свой смертный приговор.

А в Трубецком бастионе продолжался постыдный торг. Узник не подозревал, что он уже спасен от казни, спасен не царской милостью, а царским страхом перед его грозными товарищами. И он готов

был выдать их, своих истинных спасителей, чтобы купить уже дарованное ему помилование.

Но он боялся мести. Его успокоили — есть отличный способ укрыться. Он будет перестукиваться с товарищами, прикрываясь чужой фамилией, например Тихонова. Узнает все, а тень предательства пусть падет на другого. Тогда пропали его последние сомнения. И когда генерал принес, наконец, из министерства весть о помиловании, радостный узник, забыв ночные туфли, в одних носках, выскочил в коридор из камеры смертников. Скорее его ведите! Он хочет начать говорить! Он хочет оправдать царскую милость и генеральское доверие!

Потягивая черный кофе, внимательный Плеве слушал предателя.

ДОПРОС
У ПЛЕВЕ

Андрей Желябов шел на свидание к Николаю Клеточникову. Странные вещи творились в последнее время. Странные обыски и аресты, странные провалы. Не будь этого, никогда осторожный и опытный Тарас не рискнул бы назначить эту встречу на улице, около городской думы.

Внешне дела организации шли блестяще. Время передышки, когда Верховная комиссия и граф Лорис-Меликов дурачили общество обещаниями свобод и конституции, было использовано «Народной волей» для организации сил. Окреп, расширился, активно действовал центральный студенческий кружок. Успешно шла агитация среди рабочих, народовольцы даже выпускали свою особую, подпольную «Рабочую газету». Огромным успехом явилось создание военной организации «Народной воли»: около двухсот лучших офицеров армии и флота примкнули к отрядам революции. А ведь это было только начало — с момента создания «Народной воли» прошло всего полтора года! Казалось, она уже начинала становить-

ся именно такой, какой мечтал ее видеть Тарас, — массовой организацией. Но вот недавно, 4 ноября 1880 года, палачи повесили в Петропавловской крепости Преснякова и Квятковского. Передышка кончилась: решено было снова приступить к террору. В глазах народовольцев сила и влияние их организации проявлялись для общества в том, что «Народная воля» беспощадно казнила самых жестоких палачей. Партия считала себя как бы Верховным трибуналом народа. Ее руководители полагали, что если этот трибунал перестанет исполнять вынесенные им приговоры, он потеряет всякое значение. И на этот раз было решено довести до конца «охоту на медведя» — Александра II, утвердившего приговор обоим товарищам, а потом уж бросить всех людей на организацию работы в массах.

Все делалось надежно. На углу Малой Садовой и Невского, из «сырной лавки Кобозевых», рыли подкоп и закладывали мину. В нужный момент ее поручили взорвать Михайле — Фроленко. Если царь проедет стороной, в него собирались метнуть пять бомб системы Кибальчича. Если он ускользнет и от бомб, Тарас — Желябов сам встанет на его пути с кинжалом в руке. После казни царя предполагалось немедленно организовать отряды повстанцев из рабочих и крестьян и с помощью офицеров-народовольцев поднять армию и флот и захватить власть.

Но внезапно над подпольем нависла странная тень. Было похоже, что это роковая тень предательства.

Уже в ноябре арестовали Дворника — Александра Михайлова.

Желябов так никогда и не смог понять, как это могло случиться. Величайший конспиратор эпохи, Дворник, попался как начинающий юнец. После казни Квятковского и Преснякова он заказал в двух фотографиях на Невском портреты погибших товарищей. «История должна знать этих людей», — говорил он. Получить готовые карточки послали двух студентов, но они почему-то струсили. И, рассердившись, Дворник пошел сам.



В первой фотографии хозяин отлучился под нелепым предлогом и куда-то убежал. За его спиной хозяйка показала Михайлову на горло и сделала знак, недвусмысленно обозначающий петлю. После ухода фотографа (в полицию?) Дворник ринулся к выходу. Там его караулил дюжий субъект, который невнятно что-то забормотал и схватил клиента за полу пальто.

— Я сунул руку в карман, — смеясь, рассказывал Михайлов на заседании Распорядительной комиссии в тот же вечер. — Он решил, что там револьвер, и отпрянул. Я — в проходной двор и был таков!

Тарасу не понравилось веселое оживление друга. В Александре чувствовалась беззаботность, словно он заранее был уверен в своей удачливости.

— Ты понимаешь, — с тревогой говорил Желябов, — что не должен больше идти в ателье?

— Я еще с ума не сошел.

А на следующий день Михайлов... пошел во второе фотоателье. Что с ним случилось, почему он это сделал — непонятно. Как мог этот опытнейший среди опытных без всякой нужды полезть в обнаруженный капкан? В письмах из крепости Михайлов не объяснял своего поступка. Тарас полагал, что задумавшийся, захваченный невероятно большим потоком дел, связанных с подготовкой нового покушения, он увидел на улице знакомую вывеску и машинально, не успев всего на какую-то секунду сообразить, заскочил туда. Один раз в жизни он потерял контроль над собой — и... Такова судьба подпольщика.

Кто-то из товарищей видел, как на улице Дворник сумел вырваться из рук жандармов, как бежал он по Невскому. Не успел уйти — догнали на извозчике и снова схватили. Тогда он повез полицейских к себе на квартиру и как-то ухитрился поставить на окно знак опасности. Напрасно там дежурила засада — никто не пришел.

Позже Клеточников передал содержание первого допроса Дворника господином Кириловым.

— Как же это вы так, — не переставал удивляться Кирилов, — решили заказывать карточки в тех

самых фотографиях, которые всегда выполняют наши заказы на такую работу? Хозяева, конечно, узнали сразу своих тюремных клиентов и сообщили нам: мол, отставной поручик Поливанов заказывает фотографии казненных государственных преступников... Мы никак не ожидали вас встретить. Верно говорят в народе: «На всякого мудреца довольно простоты».

Вслед за Михайловым стали исчезать лучшие люди партии. Первым взяли на улице Фриденсона, а в его квартире напоролись на засаду сначала Златопольский, потом Баранников. После ареста Михайлова исчезновение Порфирия явилось самым тяжелым потрясением для партии революционного подполья.

За последние месяцы возглавляемая им группа контршпионажа добилась значительных успехов. По списку, составленному Клеточниковым, агенты Исполнительного Комитета установили правильное наблюдение и выявили много новых полицейских шпионов — либо неизвестных Клеточникову, либо принадлежащих секретному отделению градоначальства. Уже вошло в обычай подсовывать им фальшивую информацию, сбивать со следа. Незадолго до ареста Баранников поселился в гостинице рядом с Егоркой — Мразью, залез в его отсутствие к нему в номер, вытащил черновики рапортов, а взамен оставил записку с черепом и костями. С тех пор Мразь больше не видали в городе.

И вот Баранникова тоже нет больше...

Фриденсон, Златопольский, Баранников... Испытанные подпольщики, лучшие активисты партии. И, конечно, ее руководитель — Александр Михайлов. Все они в лапах полиции. Многовато потерь для простой случайности.

Кажется, на этом беды не кончились...

Вчера Желябов шел на явку к Коту Мурлыке, члену Военно-революционного центра. Надо было предупредить Мурлыку — Колодкевича об аресте Баранникова. Но в окне явочной квартиры Тарас не увидел большой рисованной коробки спичек — условленного знака безопасности. Неужели провалился и Мурлыка?

Это было необычайно опасно. На квартире у Колодкевича Порфирий — Баранников встречался с Николаем Клеточниковым.

Желябов с тоской подумал, что напрасно уступил Наташе и ввел ее в Исполнительный Комитет, поручил кружки в Орловской губернии. Вот Дворник бы, тот не уступил... Ах, если бы с ним был Дворник!

Хорошо, если Колодкевича накрыли у него на квартире и он успел снять знак безопасности. Тогда Клеточников увидел бы опасность и ушел. Но если Мурлыка заходил к другу своему Порфирию, а Мурлыка очень любил Баранникова и мог зайти к нему безо всякой нужды...

Лицо Желябова исказилось от внутренней боли. «Если бы с нами был Дворник, — в который раз подумал он, — Саша не допустил бы этих бессмысленных хождений по явкам!»

...Но если все-таки Колодкевич зашел к Баранникову поболтать с другом, значит, его взяли в засаде. И, значит, он не мог снять у себя знака безопасности. Знак снял единственный посетитель этой секретной явки — Николай Клеточников.

Желябов живо представил себе, как, подслеповато щурясь, входит Клеточников в квартиру; как со всех сторон его окружают знакомые «сослуживцы». Кто пока больше удивлен: задержанный или схватившие его шпики — неизвестно. Но кириловские волкодавы медленно соображают, и секретарь шефа с независимым видом вынимает сигару, снимает с окна коробку спичек и закуривает. Через минуту на него набрасываются, обыскивают, связывают, — но знак безопасности уже уничтожен. Он, Андрей Желябов, не войдет в эту квартиру. Цепь арестов остановлена.

Тарас оборвал себя. Может, все это бред, плод расстроенного воображения? Может быть, на самом деле Клеточников тоже заметил отсутствие знака и сидит теперь у себя в квартире, дожидаясь возобновления связи?

Позавчера по просьбе Андрея ему была послана открытка: «Приходи на Невский проспект, к думе, к двенадцати часам, в воскресенье». Через несколько

минут он все узнает: дума ведь рядом. Либо Клеточников уже здесь, либо записка перехвачена.

Вот и дума. Клеточникова не видно. Но зато, прикрывшись газетой, привалился к стене небритый широколицый субъект в синем пледе с застежкой — львиной головой. Желябов замечает его ноги, вывороченные пятками наружу, его сплющенное сверху лицо со злыми водянистыми глазами. Палкин?

А вот еще агенты. Все они описаны в тетрадях Клеточникова. Теперь понятно, что он действительно находится в руках своего начальства: Желябова здесь ждут. Но все еще охраняет организацию удивительная, неповторимая работа ее разведчика.

Ни на секунду не задерживаясь, Тарас проходит в толпе мимо думы.

В то самое время, когда Желябов скрылся от шпиков в магазинчиках Гостиного двора, Клеточников предстал перед прокурором Плеве. Неподалеку от прокурорского стола в кресле лежал в полуобморочном состоянии Кирилов. Воротник его мундира был расстегнут, сразу постаревший начальник агентуры отхлебывал воду из графина, при этом стакан звенел в его дрожащих пальцах: он пытался вызвать жалость у прокурора. В темном углу сидел еще кто-то.

— Так вы утверждаете, Клеточников, — уставив свои холодные немигающие глаза, спросил прокурор, — что ваш визит к Колодкевичу есть следствие случайного знакомства. Так-с?

— Да, утверждаю.

— Вы знаете этого господина? — поворачивается Плеве в угол.

Клеточников оборачивается туда же. А, этот... О нем он успел сообщить еще на воле. Но отпираться дальше бессмысленно.

— Так точно, ваше превосходительство, — рапортует предатель. — Этого господина я встречал один раз в гостинице у поручика Поливанова, как назывался тогда Михайлов.

— Ну, вот и все, Клеточников, — удовлетворенно бросает прокурор.

Когда дверь за арестантом захлопнулась, Плеве с удовлетворением сообщил господину Кирилову, что прошение об отставке тот может подать в любое удобное для него время. На этот раз начальник агентуры задергался в кресле по-настоящему.

Это было 30 января 1881 года. До казни императора Александра II оставалось тридцать дней.

28 февраля Лорис-Меликов поспешил обрадовать государя последним сообщением: в номере гостиницы «Москва» жандармами схвачен опаснейший из государственных преступников Андрей Желябов. «Нет сомнения, — докладывал министр царю, — что с арестом Желябова «Народная воля» понесла потерю невосполнимую и находится накануне крушения своей заговорщической деятельности».

Александр II, который уже несколько недель безвыездно — как тогда говорили, «пленником революции» — сидел в Зимнем дворце, решился, наконец, поехать в город. Он хотел лично принять парад гвардейских полков — это было любимым занятием императора.

Оказалось, однако, что и царь и министр недооценили силу своих революционных противников.

Как никогда, трудно было подпольщикам в эти дни: нет больше в логове врага охраняющей, оберегающей их руки Клеточникова. Но партия не могла всецело зависеть и не зависела от деятельности одного человека, какой бы важной эта деятельность ни была... Лишившись лучших борцов, лишившись Желябова, Михайлова, Баранникова, Клеточникова, народовольцы продолжали борьбу. Они готовились привести в исполнение приговор над Александром II.

В ночь на 1 марта 1881 года в подкоп на углу Малой Садовой и Невского была заложена мина. Однако выехавший на парад царь неожиданно изменил свой маршрут и объехал подкоп стороной: так посоветовал ему осторожный Лорис-Меликов. Казалось, судьба благоприятствовала императору...

Но на набережной Екатерининского канала напе-

ререз царской карете вышла группа метателей бомб. По сигналу, данному Софьей Перовской, была брошена первая бомба — она раздробила задок кареты. Однако сам Александр II остался жив. «Слава богу», — сказал он. Но рано благодарил он всевышнего. Вторая бомба, брошенная через несколько минут следующим метателем, разорвала обоих — царя и покушавшегося на него молодого человека Игнатия Гриневицкого.

На престол вступил новый царь — Александр III. И правительство и революционеры — все ожидали скорого наступления народной революции.

Сейчас решалось, правильными или нет были расчеты народовольцев, поднимется ли общество, воспрянет ли народ — словом, верен ли был путь «Народной воли». Но восстания не произошло.

Почувствовав свою силу перед лицом обескровленного противника, правительство приободрилось. В спешном порядке был проведен процесс непосредственных организаторов «Злодеяния первого марта», и пять виселиц на Семеновском плацу как бы ознаменовали собой программу нового царствования. Виселицы для Желябова, Перовской, Кибальчича, Тимофея Михайлова...

А Клеточников и его товарищи, схваченные незадолго до 1 марта, продолжали сидеть в камерах и ждать своей участи. Они понимали, что обречены: революция не произошла, восставший народ не освободит их... Но они не раскаивались и ни о чем не жалели. Верили: не напрасно прошла их жизнь и не бесследно канула в прошлое их борьба. Справедливое дело — дело свободы и правды — рано или поздно победит. И самая их смерть должна послужить этой победе.

Прошел год. Год в тюрьме Третьего отделения, потом в тюрьме дома предварительного заключения, потом в Трубецком бастионе Петропавловской крепости.

И наконец, настал суд.

ПИСЬМА ИЗ ТРУБЕЦКОГО БАСТИОНА

Январь 1882 года. Любимой А. К. *

...Кроме ужасной горечи разлуки, я спокоен душой и весел: прошлое полно и цельно, будущее достойно борца. Моя прошлая жизнь беспримерна: я не знаю человека, которого бы судьба так наградила деловым счастьем. Перед моими глазами прошло все великое нашего времени. Лучшие мечты нескольких лет осуществляются. Я жил с лучшими людьми и всегда был достоин их любви и дружбы. Это великое счастье человека. Будь довольна такой моею судьбой.

Февраль 1882 года. Товарищам

Хотел бы я, дорогие братья, чтобы следующие мои желания были приняты во внимание. Я слышал, что Ольга Натансон умерла. Необходимо, братья, увековечить память о ней, составить ее биографию... Много я бы мог сообщить о своем милом уснувшем друге, но нет времени и места.

Необходимо составить биографию Владимира Сабурова (Алексея Оболешева). Он, кажется, умер в крепости...

Необходима биография Зунделевича: не говоря о том, что он был очень видный деятель, он оказал неоцененные услуги русскому свободному слову...

Старайтесь увековечить, прославить наших незабвенных великих товарищей Андрея Ивановича Желябова, Софью Львовну Перовскую и других, с ними погибших...

С марта месяца меня, Баранникова, Клеточникова, Колодкевича, Тригони, Суханова держали с жандармами день и ночь. Через три часа они сменялись.

* Анна Корба — член Исполнительного Комитета «Народной воли».

Это было вроде пытки... Исаева пытали у градоначальника. (Здесь письмо обрывается)

12 февраля 1882. (Идет суд)

Все эти дни голова у меня пылает, но я как-то удивительно спокоен. Многим дорогим товарищам — неизбежная смерть. Но я доволен. Я не уступил ни одного шага к этой славной участи. Жалеем, что расправа с нами келейная, что вся энергия, нервная сила и мужество товарищей вылетает в трубу здания бесследно, не производя никакого впечатления на общество... Перед нами не судьи, а палачи! Но подсудимые ведут себя прекрасно. Особенно оживлен, весел и бодр Баранников, он как на балу. Для него это последний жизненный пир... Еще о суде: Клеточников ведет себя прекрасно, решительно и достойно.

15 февраля 1882.

Дорогие братья! Дорогие сестры! Вчера мы сказали последнее слово суду, последнее слово врагам. Видя себя пленниками, большинство предлагало гордо молчать. Но вам, друзья, хотелось бы переслать, передать всю душу. Но нет для этого возможности. Передаю только главное: вы стоите, братья, на верном пути. Труден первый крупный успех, и вы его достигли, хотя с большими жертвами. Но что эти жертвы, что эти капли крови в сравнении со страданиями ста миллионов Народа? Несчастного, голодающего, обездоленного...

Мне некогда думать о себе. Вокруг меня столько обреченных, стоящих одной ногой в могиле. Я не могу верить, что эти добрые, человечные, высоконравственные люди погибнут, что у палачей хватит духу задушить, убить столько прекрасных жизней.

16 февраля 1882

Завещание

Завещаю вам, братья, не расходовать силы для нас, но беречь их от всякой бесплодной гибели и употреблять их только в прямом стремлении к цели...

Завещаю вам, братья, не посылайте слишком молодых людей на борьбу, на смерть. Давайте время окрепнуть их характерам, давайте время развить им все духовные силы.

Завещаю вам, братья, установить единообразную форму дачи показаний до суда, причем рекомендую отказываться от всяких объяснений на дознании. Это избавит вас от многих ошибок.

Завещаю вам, братья, контролируйте один другого во всякой практической деятельности, во всех мелочах, в образе жизни. Это спасет вас от неизбежных для каждого отдельного человека, но гибельных для всей организации ошибок. Надо, чтобы контроль вошел в сознание и принцип, чтобы он перестал быть обидным. Необходимо знать всем ближайшим товарищам, как человек живет, что он носит с собой, как записывает и что записывает, насколько он осторожен, наблюдателен, находчив. Изучайте друг друга. В этом сила, в этом совершенство организации.

Завещаю вам, братья, установите строжайшие сигнальные правила, которые спасали бы вас от повальных погромов.

Завещаю вам, братья, заботьтесь о нравственной удовлетворенности каждого члена организации. Это сохранит между вами мир и любовь. Это сделает каждого из вас счастливым, сделает навсегда памятными дни, проведенные в вашем обществе.

Затем целую вас всех, дорогие братья, милые сестры, целую всех по одному и крепко, крепко прижимаю к груди, которая полна желаниями и страстью, воодушевляющими и вас. Простите, не поминайте лихом. Если я делал кому-либо неприятности, то верьте, не из личных побуждений, а единственно из понимания нашей общей пользы и из свойственной характеру настойчивости.

Итак, прощайте, дорогие! Весь и до конца ваш

Александр Михайлов.

Это были последние слова великого русского революционера, которые донеслись до людей из могиль-

ной темноты Петропавловской крепости. Через пол-года он погиб, как сказано в тюремных книгах, — «от двустороннего катарального воспаления легких». Ему было двадцать семь лет от роду.

ПОДСУДИМЫЕ ОБВИНЯЮТ

В зал суда допущены были немногие — верхушка министерства внутренних дел и армии. Повсюду виднелись голубые мундиры и казачьи чекмени, словно публику тоже взяли под конвой. Только на пустых хорах, за колонной, чуть виднелась прячущаяся женская фигура: там скрывалась жена прокурора Муравьева. Ее мужу доверили ключи от хоров, и он впустил туда — под секретом — свою супругу. Пусть полюбуется, как выступает муж на закрытом процессе.

Ввели подсудимых: каждый между двумя жандармами. Женщина с любопытством посмотрела на них, потом перевела взгляд на прокурорский столик. Муж непривычно волновался и выглядел растерянным. Этот процесс ему никак не дается. Двадцать преступников грозили подорвать карьеру вечного «удачника».

В фавор Муравьев попал около года назад — на процессе Желябова, Перовской, Кибальчича, Гельфман и других. Там он блеснул виртуозной речью! Пришлось накрепко позабыть, как вот с этой худенькой женщиной, цареубийцей Софьей Перовской, он когда-то, еще ребенком, строил песочные горки и корабли. Его родители считали тогда за честь, что вице-губернатор позволяет своей малютке-дочери играть с Колей Муравьевым: ведь Перовские были в родстве с императорской фамилией. Но вот минуло двадцать лет, и товарищи детских игр встретились снова: он — молодой блестящий прокурор, она — революционер с десятилетним подпольным стажем,

главный организатор казни царя. Он смешал ее с грязью, обвинил в безнравственности. С той поры Муравьев считается незаменимой фигурой на громких политических процессах. И он всерьез мечтал, что если этот «процесс двадцати» сойдет так же удачно, как прежний, его сделают министром юстиции.

Но процесс не ладился.

Уже прошли самые громкие дела — об убийстве шефа жандармов, о соучастниках покушения Соловьева, об экспроприации денег из Херсонского и Кишиневского казначейств, о приготовлениях к цареубийству под Одессой, под Александровском, и еще раз под Одессой, и на Каменном мосту в Петербурге, о покушениях под Москвой, и в Зимнем дворце, о «злодеянии первого марта» — какие все дела! Какой размах, какие возможности для прокурорского красноречия! И — ничего.

Даже хуже того: на процессе возникал скандал за скандалом. На скамье подсудимых собрались самые умные люди революционной партии, и Муравьеву нелегко приходилось в единоборстве с ними. А этот дурак, председатель суда Дейер, так неловко пытался ему услужить, что обвинение невольно выглядело грубым и глупым даже в глазах специально подобранной публики. Среди завистливых коллег прокурора уже поговаривали о провале процесса. Нет, дело, конечно, было не в приговоре: сенаторы, получившие свои места из рук убитого царя, никак не могли считаться беспристрастными судьями его убийц. Все их человеческие симпатии находились на стороне обвинения, не говоря уже о ясном смысле закона, на который опирались их решения. Но в словесных поединках, которые разворачивались на этом процессе между обвинением и подсудимыми, почему-то неизменно победителями выходили подсудимые. Это не нравилось верхам. Муравьеву дали понять, что им не очень довольны.

Особенно скандально прошло заседание, на котором допрашивали лейтенанта флота Евгения Суханова. Пылкий моряк, член Военно-революционного центра рассказал, как он стал революционером.

Ему везло по службе на Тихоокеанском флоте, и если б его интересовала только карьера — он бы очень далеко пошел. Суханов оказался необычайно порядочным и честным человеком. Его выводило из себя, когда наказывали мелких воришек — матросов и в это же время поощряли грабителей — казнокрадов и подрядчиков-спекулянтов, обкрадывавших Российский императорский флот. Суханов метался по кабинетам генералов и адмиралов, умолял и требовал прекратить спекуляцию углем, покончить со взяточничеством в доках. Его, наконец, сочли неудобным человеком и перевели с Тихого океана на Балтику. По дороге из Владивостока он увидел ссыльных и заговорил с ними. Это оказались люди, похожие на него: они не захотели сделать карьеру, желали счастья прежде всего народу. Их сослали за это без суда и следствия.

Когда же по прибытии в Кронштадт Суханов попробовал и здесь разоблачить взяточников и воров, он не смог найти в столице ни одного прокурора, который согласился хотя бы только завести на них дело. Оказались подкупленными все, вплоть до командующего флотом и министров. Казнокрады пользовались почетом, они входили в пай с сановниками и были связаны круговой порукой с самыми высокими чинами в государстве.

— Я не мог примириться с правительством, которое состоит из людей нечестных, — говорил моряк. — Я не мог согласить свой разум и свое чувство с таким устройством власти, когда ответственность за судьбы отечества, за жизнь миллионов русских воинов возлагается на людей случайных, на любимчиков и фаворитов всесильной камарильи и бюрократии. Если ты патриот России, если любишь русскую армию, то печальная действительность наша не оставляет тебе иного выхода, кроме как идти к революционерам!

Сколько усилий стоило прокурору, чтобы этот болван Дейер не задавал Суханову лишних вопросов. Еще недоставало услышать на суде, какой процент от поставок третьесортного угля вместо антрацита

положил себе в карман генерал-губернатор Сибири или комендант Кронштадтского порта! В зале царила странная обстановка, военные люди невольно задумывались, что с таким углем, с такими машинами, с таким продовольствием флот неважно будет воевать в грядущих схватках. Да и в сухопутной армии дела обстоят не лучше. Неужели опять повторится позор Севастополя?

На Суханова поглядывали с тайным сочувствием даже некоторые из судей. Заседание закрылось в обстановке некоторого смущения и небольшой паники.

Вечером прокурор, как ему казалось, придумал ловкий ход: он решил поменять дела местами и вне очереди приступить к допросу подсудимого Клеточникова. Этот канцелярист из Третьего отделения на дознании показал, что служил революционерам за взятки. Выставив на всеобщий позор взяточника-народовольца, прокурор рассчитывал поправить свои дела и взять у этих сухановых и михайловых реванш за предыдущие поражения.

Председатель суда новый план процесса принял без возражений.

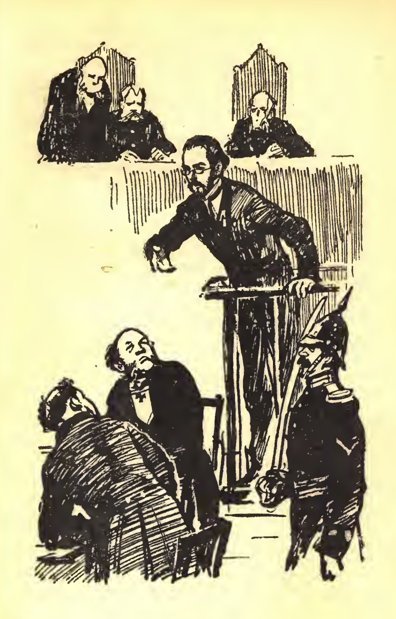
И вот...

«Я БЫЛ ПРОСТО ПОРЯДОЧНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ...»

И вот Клеточников подходит к барьеру...

Пожалуй, никого из подсудимых так не слушали. Крупнейший разведчик революционеров, «ангел-хранитель» русского подполья, он уже целый год слыл особой, легендарной личностью. Кто он такой? Откуда? Почему, имея все возможности для карьеры, для власти, он предпочел стать государственным преступником и пособником террористов?

Вокруг тихого и молчаливого чиновника петербургская молва соткала пелену фантастических слу-



ков. Сегодня он, наконец, заговорит. Сегодня он впервые в жизни откроет свою душу.

Весь зал с удивлением разглядывал возникшую перед барьером фигуру самого что ни на есть обычного мелкого чиновника, каких десятки сидят в любой канцелярии. Вот он перед началом допроса откашлялся, и по кровавому пятну на носовом платке два генерала-медика из первого ряда определили чахотку в последнем градусе.

Сначала допрашивали свидетелей: вдову полковника Анну Кутузову (ах, как плакала бедная «мадам»!), действительного статского советника Кирилова и старшего делопроизводителя Цветкова. Последний подтвердил факт особого доверия, каким пользовался подсудимый у руководителей государственной полиции.

Но вот начинается главное.

— Подсудимый, расскажите, как и почему вы дошли до преступления.

Настал великий час в жизни Клеточникова. Подсудимый изо всех сил выпрямился, напряг свою изодранную чахоткой грудь — и заговорил. Нет, не к Муравьеву, не к Дейеру, — он обращался к России, которая, — он верил — все-таки узнает правду о нем. Она должна его услышать в последние, может быть, часы его жизни!

— Я коренной пензяк, — начал он. — До тридцати лет я ни в чем не был повинен и спокойно жил в родной Пензе. Я, кажется, сказал — жил? Правильно сказать — существовал, как червь, как скот. В Пензе, господа судьи, в наше время или существуют, или гибнут — в дрязгах, в пошлости попоек и омерзительных романов. Типичная российская провинция. Но ведь там тоже рождаются «странные люди» — люди с жаждой лучшего. Они надеются, веруют, они ждут всю свою молодость, пока пошлость земная не слопает их вместе с их мечтами. Мне повезло — я заболел и уехал из Пензы на юг.

— Заболели?

— Да. Чахотка. Лечился и служил на юге, а немного поправившись, перебрался в Петербург.

Но здесь оказалось не лучше — то же пьянство в низах, та же продажность чиновников, то же угодничество перед властями, та же трусость, эгоизм и духовная дряблость интеллигенции. И пришло мне в голову, что вот умру я, и никто никогда не вспомнит про коллежского регистратора Клеточникова, никому на свете не прибавится и крупицы тепла оттого, что тридцать лет коптил он русское небо. Тоска душила меня: ведь зачем-то и я родился на свет, мог что-то совершить для родины, для людей — я это чувствовал...

— И тогда вы поступили в шпионы, — быстро подал реплику прокурор.

В передних рядах хихикнули, прикрываясь ладошкой. Ох, и хват этот Муравьев!

— И тогда я поступил в шпионы Третьего отделения, — подхватил на лету Клеточников. — Мне пришлось много думать, господин прокурор, почему в России так плохо и скверно живут порядочные люди, так бессмысленно погибают они в омутах пошлости. Я искал источник яда, отравляющего кровь моей родины, и, кажется, нашел его.

— Ну-с?

— Этим гнусным источником преступлений против духа человеческого является отвратительное учреждение — Третье отделение.

Кто-то тяжело вздохнул в конце зала, и вздох этот был услышан даже за судейским столом.

— Не будь у нас Третьего отделения, этой беззаконной расправы азиатских палачей, тысячи доброй и светлой молодежи, которая есть в России, — эти тысячи вывели бы страну к свету.

Как монумент гнева, воздвигнулся над столом председатель.

— Вы, подсудимый, сами служили в этом отвратительном учреждении...

Грохот упавшего кресла оборвал голос председателя. Это вскочил в волнении министр юстиции.

— То есть, по вашим словам, отвратительном... — густо покраснев, поправился Дейер.

— Я служил обществу! — гордо ответил Клеточников.

— Какому обществу — тайному или явному? — сыронизировал прокурор.

— Русскому обществу!

— Русское общество составляем мы! — рявкнул председатель.

На скамье подсудимых откровенно засмеялись.

— Тихо! Вести себя не умеете! Разгоню всех! — совершенно вышел из себя Дейер. — А вы, подсудимый Клеточников, вы — якобы честный человек — считали возможным брать деньги в этом, по вашим же словам, отвратительном учреждении? Да еще в качестве шпиона!

Все перевели взгляды на Клеточникова.

— Если бы я не брал жалованья, это показалось бы подозрительным, — очень вежливо и спокойно объяснил подсудимый. — Можно продолжать, господин председатель? Итак, я очутился среди шпионов. Вы не можете себе представить, какие это люди. Какие ужасные чудища, какие нравственные уроды в злодейском всесильном вертепе...

Председатель позвонил в колокольчик.

— Нет, правда, — прижал Клеточников руки к груди, — они мать родную готовы продать за подходящую цену. Больше всего меня поразили ложные доносы. Поток ложных доносов. И все это — ложь, ложь заведомая, ложь на девяносто девять процентов. Да что девяносто девять — хорошо, если на тысячу доносов один нелживый! Но по каждому доносу принимаются меры — арестовывают, мучают, ссылают людей. Каждый честный человек не может не вредить Третьему отделению. И я тоже возненавидел Третье отделение и стал вредить ему.

Он закашлялся. В помертвевшем зале этот острый кашель звучал зловещим аккомпанементом к комедии правосудия.

— Я только потому и смог столько продержаться, что все доносы заведомо считаются ложными, — продолжал Клеточников, с трудом собрав силы. — Дважды пришлось быть мне на грани провала. В первый

раз — из-за границы пришел донос его величеству, что в Третьем отделении работает народовольческий шпион. Покойный государь переслал этот донос к нам с резолюцией: «Изменника найти и заключить в крепость». Свидетель Кирилов не даст мне солгать: он вызвал меня, сам передал донос и распорядился: «Очередная фальшивка! Проверять не будем — хлопотно. В архив. И составь приличное обратное отношение». Я, конечно, не возражал.

Напряжение публики разрядилось хохотом. Даже председатель не выдержал, улыбнулся и вдруг как-то подобрел. С неожиданным любопытством он спросил:

— А второй случай?

— Это было серьезнее. В самом начале моей карьеры я переписал приказ об обысках. Всех подозреваемых предупредили заранее. Но две курсистки — я забыл их фамилии, но хорошо помню адрес: Литейный проспект, дом княгини Мурузи, — так вот эти две курсистки повели себя неосторожно. Они встретили полицейский наряд возгласами: «Милости просим, гости дорогие, вторую ночь вас ждем». Это вызвало подозрение, девиц допросили с пристрастием. Они призналось, что за сутки до этого, в полночь, неизвестный молодой человек, позвонив, шепнул в приоткрывшуюся дверь: «У вас завтра обыск», — и исчез. Оказалось, что о предстоящем обыске знали только три человека: свидетель Кирилов, я и доносчица на курсисток. Меня сразу лишили допуска к секретным документам. Руководство партии считало мой провал неизбежным.

— Ну, и как вы вывернулись? — заинтересовался Дейер.

Казалось, председатель слушал занимательную приключенческую повесть и хотел побыстрее узнать ее конец.

— Благодаря господину Кирилову, — пояснил подсудимый. — Он устроил мне очную ставку с доносчицей. Она оказалась неприятной брюнеткой с желтым жирноватым лицом. Как выяснилось, имела «слабинку» в науках и решила поправить неудачные учебные дела доносами. Такие... ммм... персонажи —

это типичный образчик агентуры в студенческой среде. К моему счастью, донос на подруг был ее первой пробой пера. И когда господин Кирилов с порога обругал ее «бандиткой» и «негодяйкой», девица расплакалась. Она не знала, что непристойная ругань неизбежна на наших допросах. Эти слезы решили дело: Кирилов принял их за слезы раскаяния. Я сам составил отношение, что «виновная предупредила своих подруг, во всем созналась и от службы отстраняется».

Публика откровенно потешалась.

До сих пор Муравьев не очень вмешивался в ход допроса. Способный юрист, он с профессиональным уважением наблюдал, как ловко Клеточников ведет свою защиту. Отлично ведет! Он сумел расположить в свою пользу часть публики — да-да! — и переломил открытое недоброжелательство судей! За шесть десятков лет своего существования Третье отделение уже всем проело печенки, даже сенаторы его недолюбливали. Муравьев и себя-то поймал на мысли, что позволяет Клеточникову так долго ругать Третье отделение не из одних тактических соображений. Просто ему было приятно выслушать брань по адресу департамента, которого сам он побаивался.

Но, пожалуй, Клеточников зашел слишком далеко. Пора его оборвать!

— Сколько сребреников вы получали ежемесячно за свое предательство? — резко спросил Муравьев.

Зал замер. О, Муравьев умеет поставить вопрос! Одним только словом «сребреники» он сумел заклеймить чиновника именем Иуды.

— Ни единой копейки...

Прокурору показалось, что он не расслышал.

— А? — он повернул ухо к скамье подсудимых.

— Нисколько. Ни одной копейки...

Растерянность Муравьева была настолько явной, что на выручку к нему ринулся председатель суда.

— Но ведь на дознании вы сами показали, что получали деньги от подсудимого Михайлова, правда, немного и неаккуратно?

Казалось, Клеточников не понимал, какое сокрушительное поражение он наносит в эти минуты своим обвинителям. Он очень спокойно и как нечто совсем обычное стал объяснять, почему оклеветал себя на следствии.

— На дознании я был в руках у своего обманутого начальства, господин председатель. Оно было обозлено и могло на законном основании без всякого суда сослать меня пожизненно на Сахалин. В таком положении еще и не то можно на себя наговорить. К тому же я подумал, что, если среди революционеров будет хотя бы один взяточник, его обязательно привлекут на процесс. А мне очень хотелось выступить перед судом и рассказать, почему я боролся с Третьим отделением.

Прокурор сидел, закрыв лицо рукой, уничтоженный. Судьи тоже растерялись. Воспользовавшись этим, обвиняемый продолжал рассказ.

— Я остановился на том, что для меня происшествие с обыском у курсисток кончилось благополучно. Не так благополучно оно кончилось для самих девушек. Хотя против них не было и не могло быть никаких улик — ведь их заранее предупредили — и хотя показания всех свидетелей были в их пользу, все-таки на основании одного только доноса разжалованной шпионки их сослали в Восточную Сибирь. Таково правосудие в Третьем отделении!

В этом месте Дейер, наконец, зазвонил в колокольчик. Потеряв руководство со стороны прокурора, сенатор решил проявить себя самостоятельно и показать публике, какой он умелый и ловкий юрист.

— Ввести свидетеля Кирилова! Свидетель Кирилов, вы помните случай с обыском двух курсисток в доме княгини Мурузи?

— Так точно, ваше высокопревосходительство. Я подписывал приказ о высылке.

— Обвиняемый говорит, что против них не было никаких улик, кроме доноса одной особы, не вызывавшей доверия. Правда ли это?

— Но донос был очень важный, ваше высокопревосходительство. Мы не могли не считаться с таким

важным доносом, — развел руками Кирилов и, чувствуя, видимо, что его слова не производят нужного впечатления, разъяснил: — Зато потом, когда была амнистия, мы их первыми освободили.

Даже Дейер смутился. Сухо и подчеркнуто недоброжелательно предложил он свидетелю удалиться.

В заключение Клеточников сказал:

— Я не могу себя считать настоящим революционером-социалистом. Слишком мало знаю я о социализме и слишком мало связан с жизнью революционной партии. Но я старался вести себя так, чтобы каждый честный человек в России был мне благодарен за мою деятельность.

Ему вынесли приговор через три дня. Отставной коллежский регистратор Николай Клеточников был лишен прав состояния, ордена святого Станислава и вместе с одиннадцатью своими товарищами — Михайловым, Колодкевичем, Сухановым, Фроленко и другими — приговорен к смертной казни через повешение.

КРЕПОСТЬ

24 марта 1882 года Александр III заменил одиннадцати подсудимым смертную казнь пожизненным заключением. Двенадцатому Суханову, как офицеру, повешение заменили расстрелом в Кронштадтском порту.

Меньше всего в этом поступке проявилось милосердие нового царя. Просто он боялся всего: боялся мирового общественного мнения, боялся кампании, поднятой Виктором Гюго против русских виселиц, боялся, наконец, русских мстителей. Хватит риска! Правда, в первом угаре злобы царь не удержался, казнил Желябова и его товарищей. Но дальше продолжать в том же духе ему было страшно.

Итак, решено: цареубийцы кончат жизнь без лишнего шума.

Вот почему в полдень 25 марта в камеру Клеточникова вошел генерал. Важно бросив: «Молитесь богу! Император помиловал вас», — он вышел, оставив Николая Васильевича полным мрачных мыслей.

Милость не радовала его. Со двора крепости доносился шум, и ему казалось, что это идут приготовления к казни товарищей. Зачем тогда жизнь?

Он постучал в стену, услышал, что сосед, Михайлов, тоже помилован, и немного успокоился. Значит, для всех?

Куранты стали вызванивать гимн. Мысленно Клеточников пропел под их такт революционный куплет, сочиненный товарищами:

Славься, свобода и честный наш труд,
Пусть нас за правду в темницы запрут,
Пусть нас пытают и мучат огнем,
Мы песню свободы и в тюрьмах споем.

Потом снял куртку и крепко заснул.

В полночь его разбудил грохот дверных запоров. В камеру ворвалась орда жандармов. Они окружили металлическую койку, намертво прикрепленную к полу. Как волки, разглядывали жандармы своего пленника.

Что они собираются делать?

— Встать! Раздеться догола!

Волосатые руки шарят по голому телу. Торопливый, суетливый обыск! Клеточников успевает заметить двух унтеров, притаившихся в углу. Они ждут. Чего?

— Одеться!

Негнущимися пальцами натягивает он полосатую куртку, рваные штаны. Настала очередь унтеров. Заломив ему руки, они вытащили его в коридор. Куда? Пытать? В подвал?

Ступени круто спускались вниз. Его уже не вели, его несли на руках. Вот железная дверь. Тяжело дыша, унтеры поставили его на ноги. Один завозился, распахнул ее, другой грубо толкнул Клеточникова в спину.

Дверь захлопнулась, унтеры остались за ней. Видимо, вход сюда запрещен даже тюремщикам из бастиона, чтобы не узнали они, кто и куда забрал от них вечного узника. Клеточников видит, что находится в маленьком круглом крепостном дворике. Дворик — как бы шлюз на его пути к смерти. Один, ночью стоит он на снегу. Крупные звезды сияют на ярком небе. Клеточников давно не видал их. И вдруг он забывает о своих страданиях, о предстоящем вечном заключении. Что еще они с ним могут сделать!

Он смотрит на звезды, может быть, в последний раз в жизни. Бушующий ветер поднимает с земли и осыпает снегом его поседевшие волосы и голую грудь.

Но вот из ворот появилась вторая группа жандармов. И опять двое молодцов поволокли его. Промелькнула стена, черный провал ворот, закоулки, и вдруг он заметил отблеск огоньков на водной глади.

Они были на берегу канала.

«Топить ведут!»

Он инстинктивно дернулся в их руках, крикнул. Огромная лапа в белой перчатке опустилась на лицо, нашарила рот и сдавила его. Левым глазом он все же заметил, что группа ступила на узенький мостик.

Значит, не топить? Но тогда куда же?

На другом берегу его отпустили. Николай Васильевич увидел невысокое здание и только теперь догадался, куда его вели. Словно подтверждая догадку, сбоку донесся знакомый голос. Это кричал кириловский волкодав, жандармский штабс-капитан Соколов, по прозвищу «Ирод».

— Сюда тащи, в эти двери!

В Третьем отделении уже давно поговаривали, что Соколов назначен смотрителем самой секретной темницы государства — Алексеевского равелина. Видно, это было правдой.

— Сюда, говорю! — снова заорал Соколов, и двери распахнулись будто сами собой. — Кого это? А, старый знакомый пожаловал в гости!

Однако тут же Соколов заметил, что Клеточников не слушает его. В последний раз узник глядел на звезды.

Что-то, видно, дрогнуло в сердце жандарма.

— Погоди минуту, — приказал он караулу. И, будто оправдываясь, зло прибавил: — Ить я тоже христианин.

Через минуту Клеточникова внесли в узкий и длинный коридор. В конце его тускло мигали две маленькие лампочки. Заключенного протащили мимо нескольких дверей, потом куда-то втолкнули и разом отступили в стороны.

Он огляделся. Здесь все выглядело гораздо уютнее, чем в Трубецком бастионе: деревянная кровать, деревянный столик, стул, изразцовая печка. Большое окно. Так вот он каков, зловещий Алексеевский равелин, самое страшное место в крепости! Ничего ужасного, все выглядит обычно.

— Обыск! — командует Соколов.

Опять обыскивают. Соколов подносит керосиновую лампу почти что к самому лицу, а в это время другой жандарм шарит пальцами во рту: не запрятаны ли за щекой деньги на случай побега. Ничего не нашли. Но все-таки отобрали старую одежду. Жаль! В подкладе ворота старой куртки он нашел запрятанный там карандашный грифелек и прощальную предсмертную записку Андрея Преснякова. Когда-то Андрей носил эту куртку перед казнью, а вот через четыре месяца она досталась Клеточникову. Кому-то достанется следующему? И сумеет ли этот следующий передать последнее слово казненного друга на волю? Он, Клеточников, не сумел.

Соколов внушительно выпрямился перед заключенным.

— Ты, Клеточников, догадываешься, где находишься. Об этом месте в России знают всего три человека: государь, комендант да я. Вот как! Теперь ты будешь номер шестой, понял? Мне приказано говорить тебе «ты», и я это исполню. Только «ты»! А за перестукивание — наказание, за попытку говорить в глазок — тоже. Телесное. Понял?

И, отрывисто выпалив: «Все!» — смотритель вышел из камеры. За ним — жандармы. Щелкнули замки. Наступила тишина.

Клеточников подошел к окну: захотелось еще раз поглядеть на небо. Но через стекло не было видно ни клочка неба. «Близко крепостная стена, как в Трубецком», — подумал он и ощупью направился к дверям. Оттуда доносились чьи-то торопливые шаги, хлопанье тяжелых дверей, щелканье замков. Пустые камеры равелина постепенно заполнялись помилованными смертниками.

Его бил озноб. Он сорвал с постели тонкое байковое одеяло, укутался, но это не спасло от пронизывающего тюремного холода. Но вот захлопнулась дверь в соседней камере. Клеточников подождал с полчаса и, как учил его Михайлов, стал осторожно выстукивать первым суставом пальца по штукатурке.

— Кто вы?

— Тригони, — немедленно донеслось в ответ. «милорд», значит, тоже здесь.

— За вами?

— Фроленко, потом Морозов. А вы кто?

— Клеточников.

— Это равелин?

— Да.

Стук прекратился: по коридору прошли надзиратели. Николай Васильевич забрался на свою жесткую постель, скорчился, как ребенок, и скоро уснул. Надо было набраться сил перед первым днем вечного заключения в равелине.

ПОБЕДА

Утром, едва вскочив на ноги, он направился к окну.

Вот так гнусная история!

В окно были вставлены две рамы с решетками. Стекла наружные крепко-накрепко забелили, а ма-

ленькую форточку в верхнем углу окна закрыли частым железным ситом. Через грязное сито свежий воздух не проходил в камеру, а видеть солнце вообще, оказывается, считалось здесь запрещенным.

Клеточников напряг близорукие глаза и вдруг различил паутину, густо затянувшую все углы его нового жилища. Провел рукой по стене: штукатурка показалась рыхлой от влаги. На полу блестела серебристого цвета корка — налет сырости. С его туберкулезом здесь долго, пожалуй, не протянешь.

Распахнулась дверь. Двое жандармов внесли умывальник, двое — еду, сам смотритель с торжественным видом держал серебряную чайную ложку. Завтрак оказался вполне приличным: французская булка и два стакана чаю с сахаром внакладку. Но морда у «Ирода» подозрительно лоснилась.

Какую еще каверзу придумал этот мерзавец?

Клеточников с ним не разговаривал: не хотел слышать смотрительского «тыканья». Молча все съел, дождался ухода Соколова и постучал соседям... Всем на завтрак дали то же самое. Странно.

Обед превзошел все ожидания. Вкусный суп, на второе жареный рябчик, на третье пирожное. Удивленный Тригони постучал Клеточникову:

— Неужели будут так кормить? Я не мог всего доесть. Попросил смотрителя принести остатки на ужин. Что дадут на пасху?

Пасха начиналась на следующий день.

Клеточников чувствовал, что готовится ловушка, — он хорошо знал нравы Третьего отделения. Но ничего придумать не мог. Оставалось ждать.

На следующий день первое, что бросилось ему в глаза, — грубая деревянная ложка в руках Соколова. Ах, так вот оно что! На завтрак дали кусок черного хлеба и кружку кипятку.

Мелко-мелко поломал хлеб Николай Васильевич. Мякоть была полна сора. Брезгливо выбросив сушеную сороконожку, запеченную в корку, он принялся есть свой кусок. «Ирод» старался не смотреть на него.

После обеда, на который дали суп-кипяток с несколькими плавающими капустными обрезками и немного каши-размазни, взволнованный Тригони простучал:

— Что это такое? На этой пище жить нельзя!

— Это пытка, — ответил Клеточников.

Да, это была пытка — пытка голодом. Их хотели сломить, заставить просить помилования, выдать товарищей. Наступление Плеве повел по всем линиям. Узников переодели в настоящее каторжное одеяние: в дерюжную рубаху и штаны с разрезами для кандалов; их обули в тяжкие деревянные коты; их поместили в сырые камеры, где соль на столах сразу превращалась в рассол, а спички в камеру вносили за пазухой. Но главную надежду Плеве сохранял все-таки на голод. Они должны у него заговорить.

Но в камерах приняли вызов. Никто не жаловался, никто даже не разговаривал со смотрителем. Пусть подавится своим «ты»! Лишь однажды Клеточников не сдержался: выковырял из хлеба три белых червя и показал их Соколову. Тот покраснел, взял их и спрятал, не говоря ни слова. В тот день ему вручил червей и Фроленко. «Ирод» попытался объяснить было, что вовсе это не черви, а просто разбухшие хлебные зерна. Но с тех пор хлеб стал более чистым: Соколов взялся следить за просевом муки.

Эта маленькая победа очень подбодрила Николая Васильевича.

Самым тяжелым испытанием в тюрьме была не сырость, не холод, не голод. Самым главным союзником врага стало безделье и отсутствие впечатлений. Книг не было. «Чтение не полагается». Прогулок тоже не было. И камеры показались заключенным просторными гробами.

Первое время Клеточников попробовал занять себя размышлениями. Но думать он мог только о деле: никаких других интересов в его жизни не было. «Конечно, главная ошибка, что мы ликвидировали явку у Наташи. Нельзя было, ни в коем случае

нельзя встречаться у лица, которого разыскивает полиция. Но, допустим, это случилось... Тогда остается следующее: как же все-таки они добрались до нашей явки? Брали одного за другим на квартирах, по цепочке — это так, все это понятно, но... Как они ухватили самое начало цепочки? Ведь насчет квартиры Фриденсона — Агаческулова не было никаких доносов, никаких подозрений...»

Дойдя до этого места, цепь умозаключений обрывалась, но Клеточников продолжал мучительно вспоминать. Он чувствовал, что где-то в памяти что-то брезжит, где-то виднеется кончик ниточки, мелкая деталь, которая замкнет недостающее звено. «Фриденсон. Нет, о нем я ничего не знаю. Ничего. Агаческулов, Агаческулов — под этой фамилией он жил. Нет, не припомню, ничего не помню...»

И вдруг однажды он вспомнил эту деталь! Он вспомнил донос, где упоминалось имя Агаческулова, вспомнил и предателя, выдавшего его. Но сообщить об этом на волю уже не мог.

А тут еще ухудшилось состояние Клеточникова: наступило обострение болезни. Мелкие красные пятна покрыли его ноги, под коленями набухла опухоль. Он осмотрел свое тело: ребра вылезли наружу, ноги стали тонкими, как плети, и только в коленях утолщались багровыми узлами. «Как у петуха», — подумал узник и застучал соседу: «Цинга». — «У меня тоже, — ответил Тригони. — Поэт передал всем: когда опухоль дойдет до живота — смерть».

Поэт — Морозов был медиком.

Когда смотритель принес обед, Клеточников молча разглядывал распухшую ногу.

— Пухнет? — зачем-то спросил «Ирод».

— Да.

Ничего не говоря, смотритель вышел из камеры.

Скоро он вернулся со стареньким доктором в халате. Клеточников пытался вспомнить, где он видел доктора. А, это тот генерал-лейтенант, который сидел на процессе в первом ряду. «Знатные мы люди, — подумал заключенный, — генералы от медицины нас лечат».

Генерал посмотрел ногу, покачал головой и ничего не сказал.

— Нет надежды?

— Лекарство пришлю. Попробуем. Авось... Авось... — пробормотал он.

Скоро смотритель принес в камеру ложку желтой жидкости с железистым вкусом. Она не помогала — ноги одеревенели. Пришлось снова звать врача.

— Нужно другое питание, — хмуро сказал генерал смотрителю. — Медицинские средства здесь бессильны.

— Приказывали — рябчиками-с кормил, — сухо ответил «Ирод». — Прикажут-с — и вовсе кормить не буду. На все воля государя и коменданта.

Врач недовольно пожевал губами, но понял, что спорить с «Иродом» бесполезно. Видимо, он поговорил с комендантом. На следующий день дали молоко и разрешили прогулки.

Опухоль постепенно стала проходить. Но в тот день, когда она исчезла, исчезло молоко и прогулки. Будто обрадовавшись, цинга снова набросилась на людей. Увидев опухоль вторично, «Ирод» скривился, бросил сквозь зубы:

— Еще рано.

Он еще не потерял надежды, что цинга заставит заключенных заговорить. И тогда он снова начнет кормить их как в первый день, — рябчиками. А пока — рано.

Но они молчали. И через месяц он снова вынужден был дать молоко и прогулки. А потом снова отнял их.

Когда болезнь пришла в третий раз, Клеточников простучал в стенку своим товарищам чрезвычайное сообщение. Он решил бороться — объявить голодовку и «смертью смерть попрать». «Все равно легкие никуда не годятся. Пусть от моей смерти будет для вас польза».

Тригони отстучал ответное мнение товарищей: Фроленко, Морозов, да и он сам просили Николая Васильевича не рисковать понапрасну. Но он не хотел менять своего решения.

В первый день, когда заключенный отказался от еды, смотритель растерялся. О голодовке ничего не говорилось в инструкции. И вообще эта форма борьбы сметала всю линию поведения, предусмотренную для смотрителя директором департамента полиции. Чем устрашить людей, сознательно обрекающих себя на голодную смерть? Чем их сломить?

— Это твое дело — есть или не есть, — угрюмо заявил Клеточникову смотритель. Но сам он так не думал. И помчался докладывать начальству.

Первым всполошился комендант. Он растолковал туповатому Соколову, что если все заключенные перемрут вслед за Клеточниковым, то прощай повышенные оклады, новые чины и ордена — все награды, какими правительство жаловало охрану равелина.

Еще больше коменданта встревожился директор департамента полиции Плеве. Если слухи о голодовке и гибели заключенных когда-нибудь выползут из стен равелина, его репутация «строгого законника», «сурового, но справедливого охранителя устоев» будет скомпрометирована. Хорош законник, уморивший заключенных голодом! После такой именно голодовки в Харьковском централе покойник Гольденберг четыре года назад застрелил генерал-губернатора Кропоткина... Плеве поежился при этом неприятном воспоминании и приказал «принять нужные меры» для улучшения положения в равелине: разделять участь Кропоткина он отнюдь не хотел.

10 июля 1883 года «Ирод» в сопровождении трех жандармов вошел в камеру Клеточникова. На койке неподвижно лежал живой скелет: шел восьмой день голодовки.

— Слышь ты, Клеточников, — непривычно мягко начал смотритель. — Командующий корпусом жандармов сюда будет. Велено всем номерам со следующей недели давать мясной бульон, масло, кашу, чай с сахаром. Разрешены духовные книги, прогулки. Богом клянусь, троицей клянусь — все правда. Мне что, Николай, мне велят, а я сам хоть рябчиками кормить буду. Слышь, покушай, а?

«Вот и все, — думал Николай Васильевич, вслушиваясь в жаркий полушепот жандарма, — товарищи будут живы... Последняя победа... О чем просит этот зверь? Поесть? Мне нельзя есть эту грубую пищу. Желудок надорвется. Подожду бульона».

Губы его беззвучно шевельнулись, голова с закрытыми глазами едва заметно качнулась из стороны в сторону.

— Ах ты вот как! — взбеленился «Ирод». Должно быть, на его мозг угнетающе подействовала тюремная обстановка: в последние дни он осатанел, будто находился на грани помешательства. — Ах ты вот как! Кормить его, кормить насильно! — завизжал «Ирод», и слюна полетела во все углы.

Жандармы разодрали узнику рот и стали запихивать туда куски застывшей каши.

«Что они делают! Что они делают! Ведь это смертельно, — думал Клеточников, бессильно изгибаясь в их мускулистых лапах. — Про предателя... не забыть... простучать».

Острая боль пронизала тело. Потеряв сознание, узник провалился в черную яму.

Смерть наступила через три дня.

14 июля 1883 года на Преображенском кладбище Санкт-Петербурга был похоронен по приказу полиции неизвестный, занесенный в документы как «Григорий Иванович Завитухин». Могила Завитухина ничем и нигде не была отмечена, и ее следы быстро затерялись.





ЭПИЛОГ

Прошло сорок лет

Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльных проводило пленарное заседание своего Центрального совета.

В парадный зал Музея Революции собрались люди из удивительных легенд: будто вышедшие из могил старики — герои террора восьмидесятых годов; ветераны «Союза борьбы»; бойцы баррикад; матросы Свеаборга, «Потемкина», «Памяти Азова». Казалось, живая история революции собралась в этом зале на торжественное заседание. Бойцы делились бесценными воспоминаниями о давно минувших боях с самодержавием, о погибших товарищах, о поражениях и победах.

На сегодняшнем заседании главы из своей книги прочитала Прасковья Семеновна Ивановская, член Ис-

полкома «Народной воли». Она писала о том, как бежала после двадцати лет заключения с карийской каторги и стала на воле хозяйкой квартиры, где готовилось покушение на Плеве.

Министр внутренних дел, любимец Николая II, Плеве был в клочья разорван бомбой Сазонова — ему отомстили через двадцать лет за погибших народовольцев.

В одной из глав своей книги Ивановская рассказывала о борьбе подпольщиков с Петром Рачковским, бывшим провокатором Юристом, некогда разоблаченным Клеточниковым. После ареста Николая Васильевича Рачковский официально был зачислен в штат департамента полиции. Впоследствии ведал всей заграничной агентурой царского правительства, а потом и Особым отделом департамента. Генерал, «крестный отец» провокатора Азефа и непосредственный начальник провокатора Гапона, Рачковский был едва ли не самым выдающимся деятелем и организатором политического сыска царской России.

— Ловкий и опасный был господин, — вдруг, оторвавшись от текста рукописи, сказала Прасковья Ивановна. — Только Клеточников мог с ним справиться...

После Ивановской выступала другая прославленная революционерка — Анна Васильевна Якимова. Член Исполнительного Комитета, соратница Желябова, знаменитая «хозяйка сырной лавки Кобозевых», она избегла смертной казни только потому, что ждала в тюрьме ребенка. В Трубецком бастионе родила она первенца. Как и Ивановская, она тоже была участницей охоты за министром Плеве и в общей сложности провела в крепости, на каторге и в ссылке около тридцати лет.

К сожалению, Якимова писала мало, но зато каждое ее выступление проливало свет на какой-нибудь загадочный момент в истории освободительной борьбы.

Вот и сегодня она рассказала не известную почти никому из присутствующих историю исчезновения

главной динамитной мастерской народовольцев летом 1880 года.

Оказалось, что в это время подполью угрожал новый провокатор масштаба Николки Рейнштейна. Это был некто Швецов, столяр-краснодеревец. Давно уже искал он подходящего случая выбиться в люди, и, когда судьба столкнула его, наконец, с Халтуриным, предприимчивый Швецов угадал сразу, какую «синюю птицу» держит в руках! Долго, упорно вкрадывался он в доверие к Степану, уговорил его поселиться у себя на квартире, ходил на связь к активистам-рабочим и к народовольцам... Среди тех, кому он передавал письма и поручения Халтурина, оказалась Якимова — Баска. Она заказала столяру изготовить наборный ящик для подпольной типографии.

Вот тогда — и только тогда! — господин Швецов сунулся к действительному статскому советнику Кирилову. Теперь он мог одним ударом схватить Халтурина, связных Исполнительного Комитета, а главное, нашел ход к типографии, к самому Центру партии.

Кирилов так обрадовался, что выдал Швецову неслыханный в анналах русской секретной службы аванс — три тысячи рублей!

Разумеется, Клеточников немедленно сообщил Михайлову о новом провокаторе. Однако разоблачить Швецова было весьма непростым делом.

Настоящую фамилию этого предателя знали в Третьем отделении только два человека: Кирилов и Клеточников. Немедленный разрыв отношений подполья со Швецовым неминуемо бросал подозрения Кирилова на Николая Васильевича.

Вот почему Михайлов приказал всем подпольщикам, встречавшимся со Швецовым, быть настороже, но внешне вести себя с ним совершенно по-прежнему.

Якимова регулярно ходила на встречи к предателю, регулярно морочила ему голову ложными сведениями (тут же передаваемыми им в Третье отделение). Наконец игра подошла к концу: Швецов сообщил Баске, что ящик для типографии готов и он

передаст ей заказ в Александровском саду послезавтра...

На условленном месте Якимова увидела знакомую картину: возле Швецова на скамейке стоял огромный, очень яркий, издалека бросавшийся в глаза ящик, а вокруг так и вились стайкой филеры Третьего отделения. Как это ни странно, но подпольщица обрадовалась: у нее появился, наконец, законный предлог, чтоб отделаться от Швецова, не подводя под удар Клеточникова. Очень резко она отругала столяра, намекнула, что такой яркий ящик просто не может не вызвать у нее подозрений, и тут же, кстати, сообщила, что вместе с Халтуриным сегодня же уезжает в Москву. Не успел Швецов сообразить и сориентироваться в обстановке, как она покинула его, оставив по уши в долгу перед Третьем отделением.

...На улице по пятам за Баской двинулось пятеро филеров. Среди них она заметила низенького смуглого старичка. Он и отстал первым. Часа четыре колесила подпольщица по улицам, пока не потеряла из виду последнего преследователя.

— Однако на следующий день, — вспомнила Якимова, — ко мне на квартиру пришел Старик * — он тогда очень дружил с Сашей Михайловым — и вслух прочитал отчеты филеров, ходивших у меня на хвосте.

Оказалось, что в тот раз тряхнул стариной сам господин Кирилов — он лично шел по следу подпольщицы. Он же и сошел первым с круга: отправился к себе, на «командный пункт», и там встречал возвращавшихся агентов бранью и угрозами. Но самый последний шпик все-таки порадовал шефа. Он сумел притаиться в парадной, выждал, пока Баска успокоилась, и незаметно проводил ее до дома № 11 по Подольской улице. Два часа подстерегал женщину у входа — она так и не вышла. «Там ее явка», — доложил шпик. Решено было выследить всех посетителей этой квартиры и только потом брать.

---

* Этот был Лев Тихомиров, член Исполнительного Комитета организации.

Этот план разрушил Клеточников. Он не знал, что скрывается на Подольской, но инстинктом разведчика почувствовал — о замыслах Кирилова надо сообщить Дворнику немедленно, не дожидаясь очередной связи. Ночью «отставной поручик Поливанов» из гостиницы «Москва» уже знал об угрозе «динамитной кухне».

— Так были спасены оборудование, основные запасы взрывчатки и мы с Кибальчичем, — закончила Анна Васильевна. — Возможно, и вся группа партийных техников.

— А что сталось со Швецовым, вы не знаете?

— Николай Васильевич убедил Кирилова, что Швецов морочил его по заданию подполья, — улыбнулась Якимова, — и тот посадил этого дурака Швецова в тюрьму...

— Вы бы, Басочка, записали все это, — укоризненно сказал ей председательствовавший на заседании Михайло Фроленко. — Вон академик Морозов не ленится. Написал о Клеточникове, как он нас в равелине от смерти уберег, почтил товарища...

Волнуясь, Михаил Федорович зарылся в бумаги, разложенные у него на столе. Он зачем-то перебирал их, откладывал ненужные, потом нашел бланк с красным штампом и, надев на нос очки, пробежал его глазами.

Заметив, что присутствующие поднимаются с мест, Фроленко знаком попросил всех остаться.

— Тут еще одно дело осталось, требуется ваша помощь, товарищи. Чекисты обратились к нам с запросом...

Суть запроса заключалась в следующем. На одном из заводов рабочие несколько раз жаловались на своего мастера. Этот гражданин вел себя по-провокаторски: чрезмерно понижал расценки за работу, а когда рабочие возмущались резким падением зарплаты, ехидно предлагал им побороться за производительность труда и заодно подумать хорошенько о пользе для них Советской власти. Рабочие, вместо того чтобы негодовать на власть, пошли к чекистам и сообщили о зловредном старике. Чекисты давно

бы прибрали его к рукам, но в анкете у него обнаружилась особая запись. В ответ на вопрос: «Чем занимался до 1917 года?» — мастер писал: «Был членом партии «Народная воля» и два года сидел в Петропавловской крепости». Человека с таким прошлым арестовывать было как-то совестно; его терпели. Но последнее время он распоясался особенно, в открытую поносил все и всех, и тогда ОГПУ послало в Общество политкаторжан запрос об этом человеке: действительно ли он такой видный в прошлом революционер?

— Кто из вас, товарищи, знает и помнит Ивана Александровича Петровского? — спросил Фроленко.

Все молчали. Ветераны знали почти каждого народовольца в столице и провинциях, но Петровского не встречали ни Якимова, ни Морозов, ни Ивановская.

— А может, он не из «Народной воли», а из «Земли и воли»? — подала, наконец, голос Софья Иванова, бывшая хозяйка типографии в Саперном переулке. — Сейчас многие их путают... Николай Сергеевич, оторвитесь от своих рукописей. Вы Петровского в «Земле и воле» не знали?

Сидевший в углу с пачкой листков на коленях благообразный старик — Николай Тютчев, в прошлом истребитель шпионов и соратник грозного Андрея Преснякова, а нынче архивист и историк революции — с удивлением вслушался в разговор.

— Кого?

— Петровского Ивана Александровича не знали?

— А что? — глаза Тютчева вспыхнули. — Знаю Петровского. Статью о нем закончил. По-моему, лучшее, что я написал за свою жизнь. Неужели нашелся?

— Нашелся, нашелся, — зашумели радостно вокруг, — запрос прислали.

— Если только это тот самый Петровский, — осторожно начал Тютчев, — если не произошло недоразумения, то он известен не только мне. Прасковья Семеновна, это змееныш, которого вы воспитали и который за это вас...

— Ванечка!

Ивановская побледнела так страшно, что даже серебристая седина ее казалась темнее щек.

— Да, Ванечка. Иван Васильевич Окладский, он же Иван Иванович Иванов, он же Иван Иванович Александров, он же Техник, он же Иван Александрович Петровский. Предатель номер один, кадровый агент охранки с тридцатисемилетним стажем.

Все оцепенели. Первым опомнился Фроленко.

— Мне Клеточников перед смертью о нем стучал. Надо немедленно сообщить!

Так неожиданно работа историка Тютчева стала фундаментом следственной работы прокурора Петроградского губернского суда. Окладский был арестован. И, по иронии судьбы, его допрашивали, его опознавали и припирали к стенке свидетели в том самом доме, где он предавал этих самых свидетелей сорок лет назад.

Вскоре его судил Верховный Суд СССР.

Шаг за шагом раскрывали прокурор, следователи, ученые, эксперты историю ужасающего предательства. По документам они восстановили события той роковой ночи, когда перетрусивший Окладский выскочил из камеры смертников, позабыв там ночные туфли. Он рассказал все, что знал. Потом он перестукивался с соседями по камере, выдавая себя то за рабочего Тихонова, то за рабочего Тетерку. Предатель надеялся, что клеймо измены ляжет на этих людей: он стремился избегнуть участи Жаркова и Рейнштейна любой ценой.

Последствия его измены оказались ничтожными по сравнению с тем, на что надеялась полиция. Свидетели Якимова и Ивановская показали, что еще тогда, в 1880 году, все в подполье знали об измене Окладского. Клеточников предупредил Михайлова. Все выданные им квартиры были очищены, все названные им фамилии исчезли из фальшивых паспортов. Полиция не нашла никого и ничего.

И если бы не одна роковая случайность, никогда бы не стал Окладский «злым гением «Народной воли». А именно так его назвал прокурор.

По архивным документам удалось установить тайну цепочки январских арестов, приведших к истреблению лучших кадров Исполнительного Комитета.

Окладский рассказал жандармам, что в заинтересовавшем их доме № 11 на Подольской улице жил главный техник организации Кибальчич под фамилией Агаческулов. Фамилия была редкая, и она запомнилась.

И вдруг через некоторое время в Петербурге снова прописался тот же самый Агаческулов. Ничтожная мелочь — в паспортном бюро «Народной воли» кто-то или позабыл, что был некогда выписан паспорт на эту фамилию, или просто поленился придумать новую. По совету Окладского нового «Агаческулова» взяли на улице, чтобы остался нетронутым знак безопасности на окне квартиры. «Агаческуловым» оказался Г. Фриденсон. На его квартире взяли других, и цепочка закрутилась по квартирам. Только на явке у Колодкевича ее сумел оборвать Клеточников.

Ничтожная оплошность, случайное совпадение фамилий привели к таким тяжелым последствиям.

Окладский на суде ни в чем не признавался. Недаром он спал неделями под одной крышей с Желябовым — характер своих нынешних обвинителей он успел узнать неплохо. У них не поднимется рука казнить старика. А тюрьма — не равелин. Главное — надо запираться, пока не приперли документами.

Когда прокурор рассказал ему, как попали в лапы жандармерии Баранников, Колодкевич, Златопольский, Фриденсон и Клеточников, он возмутился:

— Это была непростительная небрежность с их стороны — выписать паспорт Фриденсону на ту же фамилию, что и Кибальчичу. Я тут совсем ни при чем. Сами виноваты.

Седой боец Фроленко с грустью признавал:

— В чем-то старый негодяй прав. Будь тогда на свободе Дворник, он такой оплошности не допустил бы. Эх, Дворник...

Насчет приговора Окладский не ошибся: суд вынес решение — десять лет тюрьмы. Как их провел этот предатель и как умер, неизвестно.

К сожалению, так и не найдены, несмотря на многочисленные поиски, могилы преданных им людей — Желябова, Кибальчича, Михайлова, Клеточникова. Их всех жандармы похоронили в глубокой тайне на Преображенском кладбище под Петербургом. Записей не вели. Никогда мы не узнаем точно, где покоится прах этих светлых, мужественных и смелых людей.

А если бы узнали, воздвигли обелиск. И на плите написали слова любимой песни нескольких поколений русских революционеров:

Замучен тяжелой неволей,
Ты славною смертью почил.
В борьбе за народное дело
Ты голову честно сложил.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Повесть М. Хейфеца посвящена мало известному широким кругам читателей народовольцу Н. В. Клеточникову. Этот предельно честный и скромный человек явил редкостный пример контрразведчика революции. Выполняя указания революционного центра, Клеточников проник в Третье отделение императорской канцелярии — так называлось главное полицейское учреждение царизма для борьбы с революционерами. Для этого ему пришлось в письме на родину отречься якобы от мечтаний молодости, порвать все прежние знакомства и стать презренным в глазах друзей шпионом правительства. А в действительности Клеточников стал хорошо замаскированным агентом «Земли и воли» в главном штабе царской охраны. Сохраняя невероятную выдержку, он в течение двух лет регулярно передавал своим товарищам по борьбе о всех замыслах жандармов и полицейских. Подвиг Клеточникова едва ли не единственный в истории русской освободительной борьбы.

В числе других героев повести запоминается замечательный революционер Александр Михайлов. Выдающиеся способности этого талантливого организатора признавались всеми его товарищами.

В руководящем ядре «Земли и воли», а затем «Народной воли» Михайлов занимал особое положение. По словам Веры Фигнер, он являлся «всевидящим оком организации, блюстителем дисциплины». Опытный и требовательный конспиратор, Михайлов был подлинным стражем безопасности. Исполнительного Комитета. Он знал всех шпионов и полицейских чиновников. Эта осведомленность очень облегчала ему нелегкую операцию по внедрению Клеточникова в Третье отделение.

Предательство шпиона Рейнштейна, взрыв в Зимнем дворце,

история Гольденберга и многие другие сцены и эпизоды описаны в повести с исторической точки зрения верно и тонко.

Перед читателем встает, однако, вопрос: как в целом оценить революционную деятельность героев повести — народовольцев? Ведь теперь, по прошествии 90 лет, мы знаем, что путь, который они избрали — путь индивидуального террора, — не мог привести к победе революции. Расчеты и планы «Народной воли» на то, что цареубийство послужит прологом немедленного народного восстания и свержения царизма, оказались ошибочными. Какое же значение имела борьба революционеров 70-х годов, если путь, которым они шли, заводил в тупик, из которого пришлось искать выхода последующим поколениям борцов?

Ответ на этот вопрос дал В. И. Ленин. Революционеры 70-х годов, писал он, «проявили величайшее самопожертвование и своим героическим террористическим методом борьбы вызвали удивление всего мира. Несомненно, эти жертвы пали не напрасно, несомненно, они способствовали — прямо или косвенно — последующему революционному воспитанию русского народа».

Повесть об одном из эпизодов этой героической борьбы с интересом будет прочитана советским читателем.

С. ВОЛК,
доктор исторических наук

ОГЛАВЛЕНИЕ

Хейфец Михаил Рувимович

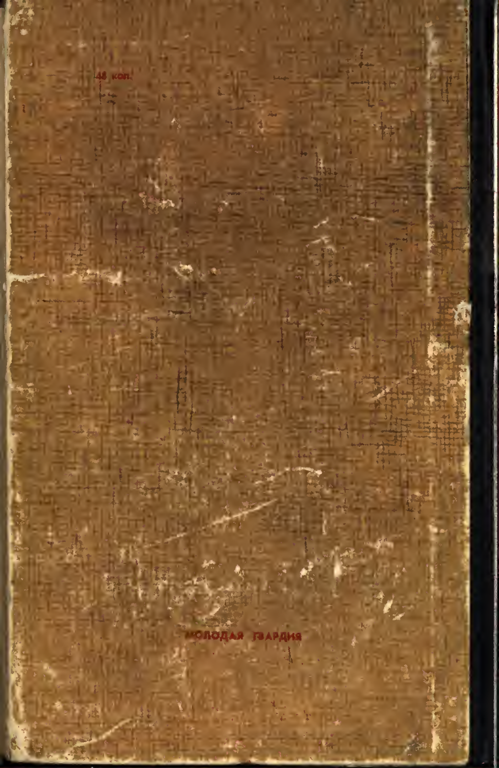
СЕКРЕТАРЬ ТАЙНОЙ ПОЛИЦИИ. Повесть. М., «Молодая гвардия», 1968.
224 стр., с илл.

Р2

Редактор Л. Строев
Художник О. Новозонов
Художественный редактор Г. Позин
Технический редактор Е. Брауде

Сдано в набор 27/III 1968 г. Подписано к печати 18/VII 1968 г. А04228. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 2. Печ. л. 7 (усл. 11,76). Уч. изд. л. 10,6. Тираж 65 000 экз. Цена 48 коп. Т. П. 1968 г., № 222. Заказ 459.

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Москва, А-30, Сущевская, 21.


48 коп.
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ